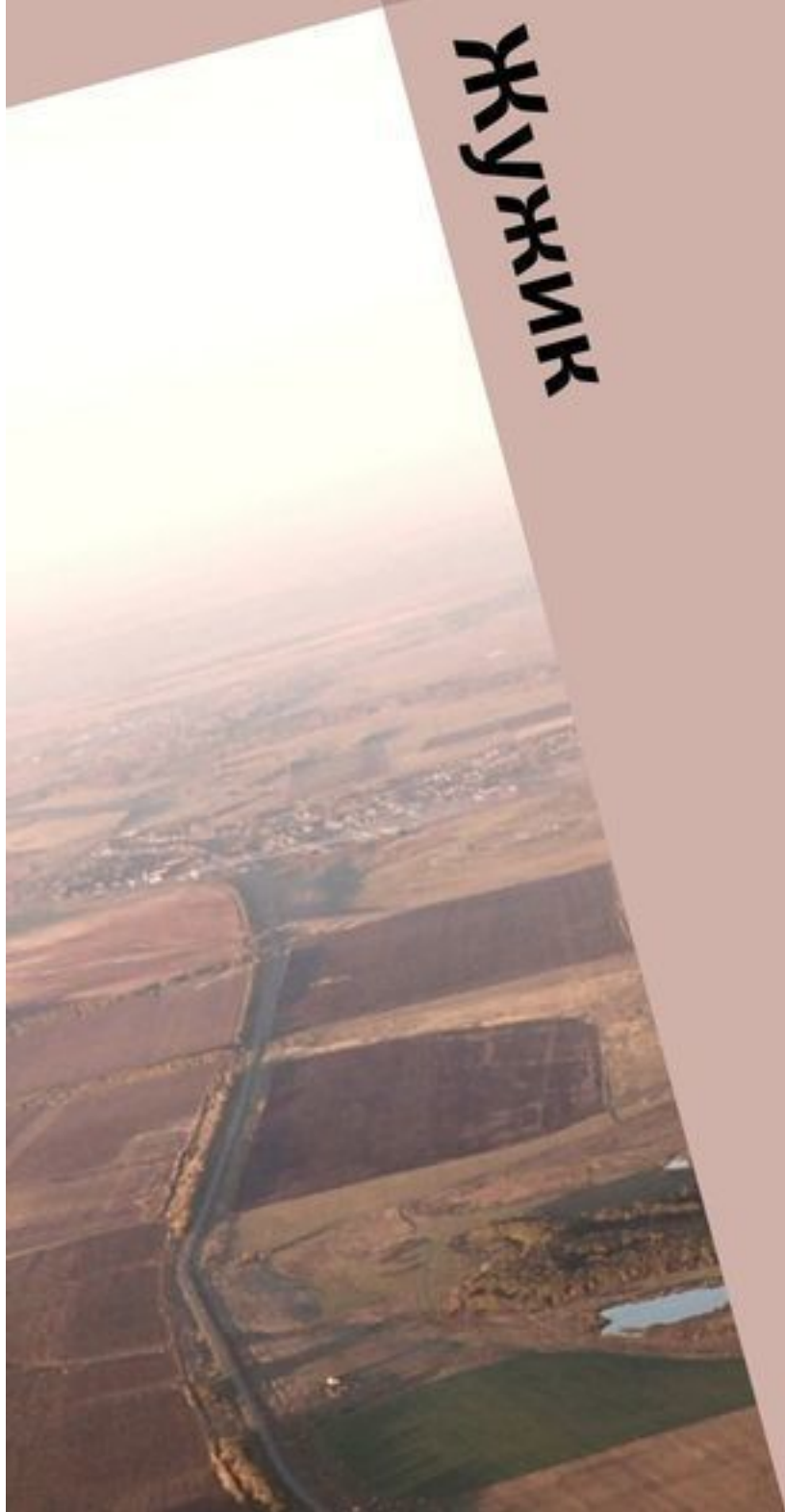


Владимир Пшеничников

# ЖУЖИК



Владимир Пшеничников

**Жужик. Сборник  
журнальной прозы**

«Издательские решения»

**Пшеничников В. А.**

Жужик. Сборник журнальной прозы / В. А. Пшеничников —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-743655-1

Произведения о любви и смерти, о поисках человеком смысла в разное время публиковались в журналах «Новый мир», «Урал», «Нева», «Москва», альманахе «Гостиный двор». Хорошо приняты читателями и критикой. Собранные под одной обложкой, они приобретают новое качество, новую жизнь.

ISBN 978-5-44-743655-1

© Пшеничников В. А.  
© Издательские решения

## Содержание

Всё отрезано	6
Поющая половица	18
Самовольник	28
Машка	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

**Жужик**  
**Сборник журнальной прозы**  
**Владимир Анатольевич Пшеничников**

© Владимир Анатольевич Пшеничников, 2016

ISBN 978-5-4474-3655-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Всё отрезано

Похоже, настало время определиться со своим прошлым. Ни врачи, ни палачи – никто не грозит мне никаким приговором, но тут ведь главное, как ты сам чувствуешь, а я чувствую – да, пора. И не такие орлы крылышки сложили, не успев сообразить, чем же была их промелькнувшая жизнь, а всё же... нет, не так.

Главное знание заключается в том, что жизнь человеческая до безобразия коротка. Да. Но и живи ты хоть сотню лет, а на исполнение замысла о тебе даётся всего-то двадцать один год, если не меньше. Для наглядности нарисуй недлинную временную ось и попробуй расставить на ней точки своих явных провалов и успехов. Небогато, не так ли, даже если первым выдающимся событием пометить самостоятельную езду на двухколёсном велосипеде типа «школьник».

Сам бы я при таком подходе начал вспоминать с той весны, когда дед умер, а в небе взошла красивейшая за всё столетие комета Bennett с двумя хвостами. Она появлялась под утро на северо-востоке, над увалом, называемым Горой, и первую неделю после похорон я, кажется, вообще не спал ночами. В потёмках уходил на Гору с самодельным угломером и лопатой, разворачивал там свою сургучно-верёвочную лабораторию и до появления кометы слушал ночь. И земля, и космос в эти часы были открытыми и близкими мне, а люди спали и казались детьми. Когда длина хвоста Bennett достигла десяти градусов, и восходить она стала пораньше, я позвал на зады отца. Выводил его с отвёрнутым на глаза околышем треуха, поставил перед плетнём и сказал: теперь посмотри на Гору.

Каталожное имя и всю её историю я узнаю осенью, а тогда мы проговорили целый час не только о звёздах. Смеялись, и наши петухи пели часы показушно старательно и стройно. Оказалось, домашние заметили мои ночные вылазки сразу, как стали исчезать пирожки с листа, укрываемые бабушкой на ночь рушником, но увязали всё с девушками, и матери уже точно было известно, к кому я бегаю – младшая Потаповых стала здороваться с нею, не поднимая глаз. «Так, Вадька, восьмой заканчивай без троек, среднюю школу – на отлично, и будешь учиться в Москве, в главном университете», – сказал тогда отец.

После майских я соберусь показать Bennett той же Потаповой, но хвост кометы уже вытянется в ниточку, и вряд ли она его действительно разглядела, пискнув «ой, какая красивая» – вы, девушки, и не такое имитируете. О том, как умирал дед, напишу через десять лет, и рассказ станут изучать в школах да и сейчас ещё проходят.

Так что на одномерной оси моя весна шестьдесят девятого никак не помещается – ни провалов, ни успехов, разве что восьмилетка потом будет закончена, действительно, без троек. Другое дело – семидесятые. Первые публикации в физико-математических и литературных журналах, какая-никакая карьера, первая женитьба по залёту, первые сыновья, первый блуд. Тут, правда, не совсем понятно, каким цветом что метить, но цепочка выстраивается убористой. В восьмидесятых – книжки в столичных издательствах, последние шишки от партийной дубины, депутатство в областном и районном советах, ещё сыновья и первые смерти по моей неподсудной вине. В девяностых – дела общественные, два года тюрьмы, из которых отдельно можно пометить арест и первый этап с вологодским конвоем, как предельное унижение, а под самый конец десятилетия – рождение первой внучки.

В тюрьме я впервые и попытался осмыслить свои сорок прожитых лет. Изготовил кубики из клёклого хлеба, высушил низку на регистре и, перебирая самодельные чётки, понял, что осмысленность всей жизни действительно определяют жизненные пики, но одной временной осью тут не обойтись. Жизнь человека превосходит себя не в длину – даже в смысле воспроизводства, – а в высоту, реализуя ценности, или в ширину, воздействуя на общество. Так

появилась работающая система координат, где вертикальная ось восходит от отчаянья к осуществлению смысла, одна горизонтальная протянута от неудачи к успеху, а другая – от толпы к сообществу. Только в такой системе можно обнаружить отчаянье несмотря на успех, и понять осмысленность существования даже и в неволе. Как говорил Диоген, если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть какой-нибудь смысл.

В нулевые мою жизненную кривую вновь исказят – хорошо, украсят – соизмеримые пики реализованных смыслов. Шестидесятый победный май я самым чудесным образом, как победитель, встречу в Москве и университет, и верных старых друзей повидать, и новыми публикациями отмечусь, потом восстановлю порушенную тюремной карьерой, а вот с семьёй этого не получится.

В самом начале нулевых я привёз на родину свою вторую, юную жену. В застольи рассказывал, как ловко удалось нам получить полуторку в общежитии и уже перестроить её под себя, из чего и какие складываются у нас доходы, но отец, вроде бы любивший такого рода подробности, реагировал вяло, почёсывал левый глаз и вдруг сказал: «Всю твою жизнь, Вадька, искалечили бабы». «Ну, а жида и американцы угондошили нашу с тобой страну», – нашёлся я. «А что, не так, что ли?» – закончил батя риторическим вопросом и ушёл спать. Мы с ним досиживали вечер в гараже с поллитровочкой, я накатил остатки и отправился не в отведённую молодым спальню, а на Гору; ночью, после далёких школьных лет – впервые. Не знаю, что я хотел там найти, а наткнулся на плотный клубок памяти – это, скорее всего, правда, что не все наши воспоминания хранятся в черепной коробке, так, какая-нибудь часть, ставшая нарративом. Поднявшись на полста метров по увалу, я смотрел на огоньки всё тех же трёх сёл внизу – вдали и на Большой Летний Треугольник в небе.

Лира, Лебедь, Орёл и затесавшаяся к ним Лисичка – так я представлял когда-то любимые созвездия другу Вовчику и старшим сыновьям. Под Денебом светило село, где я заканчивал среднюю школу, под Вегой – наше родное, а под Альтаиром угасала Роптанка. На вершину увала, похоже, что трактором приволокли отжившую свой век ветлу, мелкие сучья и кора её давно сгорели на кострах, а на голом коряжистом стволе можно было устроиться целой компанией. Я уселся на развилку, нашёл опору для спины, вытянул ноги к комлю – айда ночевай, Вадя, – и стал смотреть в засеянное небо. Летний Треугольник окормлял густой участок Млечного Пути, посверкивала внутри его Стрелка – оттуда и стал разматываться серебряный клубок. Впору было вспомнить молитву какую-нибудь, и я вспомнил: «Среди миров, в мерцании светил одной звезды я повторяю имя... Не потому, чтоб я её любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, я у неё одной ищу ответа, не потому, что от неё светло, а потому, что с ней не надо света».

До ночёвки на увале дело, конечно, не дошло, но не скоро уснул я и дома. О том времени, куда унесло меня, могло напомнить изрядное количество тетрадок, писем и фотокартчек, но вся эта куча была безвозвратно уничтожена первой женой, называвшей меня бабником и скотиной. Дольше всех продержался давний вызов из университета, но и тот в конце концов словно истёрся и испарился. Когда почтальон принёс его, жена доила, а я сгонял мух и слепней с коровы, чтоб не хлестала хвостом куда ни попадя. Вскрыл конверт и выразительно прочитал содержимое вплоть до расшифровки подписи декана физфака Василия Степановича Фурсова. Жена встала из-под коровы и, только что не наподдав ногою ведро, ушла в дом, я побежал следом и сунул бумажку – порви сама, а корова не виновата. Но всё не так однозначно было и здесь. Как-то вскоре мы поливали речной огород, я отвлёкся, растолковывая соседу закон Бэра, механизм образования меандр – отчего, короче, у наших рек берега подмываются поразному, и петляют они даже на самых плоских равнинах, а жена как спустилась за водой так и пропала. Застеснялась своей беременностью, решил я, свернул просветительскую беседу и –

обнаружил её плачущей Алёнушкой на мостках. «Тебе что, плохо?» «Да-а, – завывала она, – ты теперь скажешь, я тебе жизнь испоганила». «Да почему испоганила, мы ж ещё и не жили», – у меня это, честно сказать, получалось – ввернуть какое-нибудь уместное слово, правда, понятным я бывал через раз, но правда и то, что боязливый зад редко когда пукнет весело.

Я не думаю, что там была исключительно ревность – подмена любви, – может быть, плюс инквизиция, хотя и это не точно. Первый аутодафе – свой *actus fidei* – она вершила не перед костром, а в уборной, построенной по случаю нашей женитьбы, да и позже моя писанина летела не в огонь, а – разодранная – в грязь и в помои. Ей бы утопить мои бумаги в дерьме, не читая, а она, видать, их все до одной исследовала. Может быть, и она знала, что только духовная близость имеет значение, и просто бесилась от бессилия, кусая меня и всех, с кем я сходил ближе положенных ею пределов. На запястье, прикрываемая ремешком часов, у неё есть наколка «Гена», а я воображал вообще целую роту предшественников-свояков, которые знали её совершенно другой – весёлой, заводной, ненасытной в любви. Со мной она была такой один раз за все без малого тридцать лет, в ту новогоднюю ночь в клубе, за столом, на диване в учительской. Я тогда преподавал математику в родной восьмилетке, она учила мою сестрёнку-второклассницу... Стоп, ведь не это вспоминал я той летней ночью.

Начать с того, что в школе я был страшным общественником. С первого класса участвовал в постановках и читал стихи, пока голос не поломался и не угас, выкладывался в лёгкой атлетике, рисовал угарные стенгазеты и был прославлен брехнёй – своими устными рассказами. Читал на самом деле немного, но пересказать мог всё, фантазируя почти на пустом месте. А к одному из последних вечеров перед выпуском из восьмилетки наш классный Михаил Фёдорович решил выучить меня игре на балалайке – сам он мог и на гитаре, страстно любил мандолину. Через неделю, ввиду отсутствия у меня слуха, стало ясно, что дуэт не сложится, и на вечере мы солировали порознь. Он исполнил «Меж высоких хлебов», а после молдавского танца «Жок» вышел я, и мои куплеты стали гвоздём программы: а за мостом за – а-зеленела – а-полоса кав – а-ровая – — а не печальси – а я приеду – а милка черна – а-бровая. Хохотали все, даже не пытаюсь расслышать, о чём я конкретно страдал девять или двенадцать куплетов.

Михаил Фёдорович приехал к нам после войны, чтобы забрать жену, эвакуированную из Подмосковья с детским домом, да так и остался. В детдоме, а потом в школе преподавал русский и литературу, меня научил фотографии, радиodelу, нагрузил журналами «Техника-молодёжи» лет за десять, как оказалось, самых прорывных, глушковских, а на выпуск подарил красную книжку «Имена на поверке» – стихи погибших поэтов-фронтовиков. Хотел бы Киплинга, признался, но не нашёл. И стал читать наизусть: «Наполни смыслом каждое мгновенье, часов и дней неуловимый бег, тогда весь мир ты примешь как владенье, тогда, мой сын, ты будешь человек». Потом я отыщу другие переводы «If», а этот помню и сейчас. Своих детей у них с женой не было, и в меня Михаил Фёдорович напихал всего с избытком. «Эти ребята Киплинга знали, факт, – сказал, поглаживая книжечку. – Ифлийцы, особый призыв. Мобилизовали весь второй курс аспирантуры и старшекурсников через одного. Прямо с лекций увезли на грузовиках и зачислили политруками в армию. Больше половины погибли. А институт после войны разорили, как гнездо буржуазного космополитизма. Александр Трифонович успел его до войны закончить». Он был знаком с Твардовским, с выжившими, но так и не доучившимися студентами ИФЛИ – Института философии, литературы и истории, сам что-то писал великолепными авторучками; мне ни одного листка из его бумаг не досталось.

Потом я буду с первого номера получать «Квант», стану печататься в нём, моя полка наполнится книжками по физике и математике, но «Имена» останутся всегда под рукой. «Мы были высоки, русоволосы, вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли не долюбив, не докурив последней папиросы». Завидовал им и томился своими малыми летами и скудными знаниями.

На первом году в средней школе я сошёлся с физиком Василием Александровичем, которого местные называли Васяня-кот, и со второй четверти он стал разрешать мне первым излагать новую тему, а потом вступал сам со словами: «Та-ак, а согласны ли с этим бредом сивой кобылы я и Александр Васильевич Пёрышкин?» Он знал автора бессмертного учебника, ездил делегатом чуть ли ни на самый первый съезд учителей или, как он говорил, шкрабов; вместе мы готовили демонстрации и лабораторные, он безоговорочно поддерживал отцово решение отправить меня на учёбу в Москву, а когда оставались наедине, Василий Александрович говорил: «Не в том сила, что кобыла сива, а в том, что не везёт», – и несколько картинно вздыхал. Как молитву, произносил: о сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и случай, бог-изобретатель, – на друзей «с искусством» мне покамест везло. Правда, с молодой математичкой дальше индивидуальных заданий мы не пошли и никаких внеурочных тем не поднимали. Вообще тихо как-то было в школе после уроков, почти мертво. Бывало, только я возился в лаборантской, да трудовик постукивал в мастерской.

На торжественную линейку перед последним учебным годом я не попал – дорабатывал на уборочной в родной четвёртой бригаде, а когда заявился, новостей было выше крыши. Главное, в школу назначили нового директора Силуанова, который привёз с собой из города О. сразу двух учителей. С физруком Дерягиным, мастером спорта по штанге, мы познакомились в тот же день, а словесница преподавала в классах помладше и на глаза не попала. На второй или третий день ко мне на уроке подошёл Василий Александрович и сказал: «Так, сейчас тихохонько встаёшь и шагом марш к директору. Вещи оставь, я в лаборантскую заберу».

В кабинет директора я вошёл сходу, без стука, но здрасте сказал внятно. С подоконника, сверкнув коленками, соскочила маленькая женщина, а из-за стола поднялся здоровенный кудрявый парень в сером костюме. «Здра-асте», – пропела женщина. «Привет, – сказал директор Силуанов. – Вадим, я так понимаю. Говорят, паяльник держать умеешь». «Ну», – сказал я. «Валерия Захаровна», – сказала Лера, протягивая мне руку. Все эр и эл родного языка в её исполнении станут для меня невоспроизводимой музыкой. Ладошка была небольшая, твёрдая, глаз её за тёмными стёклами очков я не разглядел. Скуластенькая, короткая стрижка, белая рубашка и тёмный сарафан балахончиком. «Пойдём», – сказал Силуанов, звякнув ключами.

Вдвоём мы зашли в кабинетик, где я не был ни разу. На двух столах громоздились провода, проигрыватели и проекторы, магнитофон «Яуза» без крышки, всеволновой приёмник «Казахстан», ламповый трансляционный усилоч У-100 – да много чего электрического. «Ни один не работает, – вздохнул Силуанов. – А начать надо с радиоузла. Понятие имеешь?» У меня было три толстые книжки по радиоделу, и единственная непрочитанная называлась «Усилители и радиоузлы» – думал, никогда не пригодится. «Надо с приёмника начать, – сказал я, – реальный же сигнал потребуется». Силуанов согласился, всё равно ещё «лапшу» добывать для разводки по классам, а мне просто не терпелось послушать короткие волны, их в «Казахстане» четыре поддиапазона. Но сначала надо было разобрать хозяйство, на что и ушёл первый прогулянный урок.

Потом оказалось, что в приёмнике достаточно заменить сетевой предохранитель и перетянуть вернерное устройство, в усилителе вообще ни одного предохранителя не было, а магнитофон тянул звук и после замены пассика. Пару раз в радиорубку заходил Силуанов, оценил наведённый порядок, предупредил, чтобы с уроков я отпрашивался сам, правда, разрешил в случае недопонимания сослаться на него; колхозный телефонист пообещал ему не только метров сто «лапши», но и пяток абонентских громкоговорителей.

После уроков они пришли с Дерягиным, расконопатили форточку и стали курить и балагурить. Я спросил: «Кто-нибудь поможет мне антенну натянуть?» «Сам, что ли, не справишься?» – живо нашёлся Дерягин, но на крышу полез именно он; растянутый им медный

канатик, уже никому не нужный, провисел на коньке школьной крыши ещё лет двадцать. К приёмнику я подключил динамик от проигрывателя, через форточку затащил снижение антенны, и диапазоны ожили ещё до того, как Дерягин закончил монтаж. Когда он вернулся в радиорубку, из динамика доносилось: «Goodbye, Ruby Tuesday – who could hang a name on you». Силуанов курил под форточкой, покачивая крупной головой. «Ain't life unkind? – повторил довольно похоже. – Жизнь зла, не знал?» Но покамест она была прекрасна. «У меня на шарпе есть, между прочим», – сказал Дерягин, когда «камушки» отыграли. «Откуда у тебя «шарп»? – усомнился Силуанов. «После Мюнхена на бонь сам покупал, – деловито ответил физрук. – Завтра принесу, буду разминки под музыку проводить».

Только заспорили о разводке по классам, как нарисовалась техничка: «Пал Иваныч, вы школу сами закроете?» И все посмотрели на меня. Ну да, они как бы дома, а мне ещё на велике пилить пять километров. «Да ерунда», – сказал я. Но и Дерягину пора было к семье, а Силуанову – отремонтировать квартиру к переезду жены. Так закончилась первая осмысленная среда в средней школе, под Рубиновый Вторник – как ещё тебя назвать?

В субботу мы начали, а в воскресенье заканчивали разводку двух линий. В коридоре всё подряд изрыгал Дерягинский «шарп», а сам он пробивал «лапшу» со стола. Я обходился табуреткой, Силуанов всюду доставал с пола, только молоток себе по руке выбрал. Трудовик рассверливал дверные косяки и готовил чопики для крепления громкоговорителей на стенах в классах. Через окно я увидел, что в школу пришла и Лера – короткий плащик, стопа тетрадок под мышкой. Когда подтянулись предупреждённые с субботы технички, мусорить мы уже закончили. Трудовик собрал инструменты, физрук и Силуанов остались на линиях, а я пошёл прогревать усилитель. «А если коротнёт?» – спросил Дерягин. «Тогда увидим, кто как гвозди забивал», – сказал директор.

Дверь радиорубки была открыта. Лера перебирала пластинки. «И всё уже работает?» – спросила. «Сейчас увидим», – сказал я. Пока индикаторная лампа в «Казахстане» набирала полный накал, у меня уже были подключены два микрофона, и новый я протянул ей: говорите что-нибудь. «Что говорить?» «Ну, как под мостом поймали Гитлера с хвостом – новости, короче». «А стихи можно?» И, глядя прямо на меня, она стала читать: «Косым, стремительным углом и ветром, режущим глаза, переломившейся ветлой на землю падала гроза». Я задохнулся от узнавания. Взял второй микрофон и, когда она сделала паузу, продолжил: «И вниз. К обрыву. Под уклон. К воде. К беседке из надежд, где столько вымокло одежд, надежд и песен утекло». Получилось не так, как хотелось, – сипло и неровно, гавканье какое-то. Я сбился, а Лера не без лукавства продолжила: «Далёко, может быть, в края, где девушка живёт моя». Потом она и меня будет учить читать стихи, главное – правильно дышать при этом, так, как их самих учили в пединституте, – мне не привилось. В дверях появился Силуанов: «Что это было?» Павел Коган, стихи. «Буль-буль, буль-буль, – изобразил директор. – Ясно, что не проза, да не разобрать ни черта». «А я всё слышал а-атлично!» – сказал подошедший Дерягин. И мы стали разбираться. Выход в усилителе был один, а коммутатор я делал наспех. «Ну, привари пока два простых разъёма, по очереди будем втыкать, – сказал Силуанов. – Говорил же, одну линию надо тянуть, нет, устроили, понимаешь, сегрегацию». Я переключил трансляцию на приёмник, мы ходили по школе втроём, подкручивали громкость на динамиках, а Лера в рубке время от времени меняла линии. Треск в пустой школе раздавался жуткий. «Против этого я в коммутатор кондёры и вlepил», – оправдывался я. «Только стены испохабили!» – кричал издали Силуанов. Чуть со всех сторон неслась несусветная.

Я вернулся в радиорубку и застал Леру стоящей коленями на стуле, придвинутом спинкой к столу с аппаратурой, а туфли её валялись на полу. «У Кульчицкого тоже есть о дожде, – сказала она, обуваясь. – Дождь. И вертикальными столбами дно земли таранила вода». Ну, не специально же она выбирала все эти эр и эл? А под внезапный настоящий дождь мы с нею

попадём месяцев через восемь, под первый ливень семьдесят второго, промокнем до последних ниток, будем сушиться и всё делать как-то без стихов. Да и не любила она их на самом деле. Когда я первый и последний раз прочитал: «Шаловливый шелест шёлка. Полусвет или полумрак. Кто подглядывает в щёлку, приглушив зевок в кулак?» – она засмеялась и сказала, что это был чуть ли ни единственный раз, когда она вообще надевала комбинацию.

Постоянно подключенной решено было сделать старшую линию – пять динамиков в классах и два в коридоре, и Силуанов потренировался запускать гимн. «Завтра перед линейкой врубим. И думайте о дикторах, о программах». – «Я о закаливании могу прочитать», – нашёлся Дерягин. «Во, самое то, – ухмыльнулся директор. – Сентябрь скоро закончится, а скука – аж скулы сводит. Что, нечего замутить? Или не с кем?» Я сказался наезжающим. «Да все мы тут люди не местные, – рассмеялся Силуанов. – Но вы же нашлись, я так понимаю? – Он ткнул пальцами в нас с Лерой. – Буль-буль, буль-буль. Ищите дальше! А ты, мухач, когда свою штангу привезёшь? Я среди бела дня школу закрываю – и мне стыдно, вы это понимаете?» – «Мне даже классного руководства не досталось, с кем заниматься?» – сказала Лера. Не было класса и у Дерягина. Не, ну, есть же самодеятельность, предположил я, актив там. «Завтра я вам соберу актив в пионерской, – пригрозил Силуанов. – Даже если это сплошь балалаечники окажутся». Я воспроизвёл первый куплет своих страданий: а за мостом за – а-зеленела... Лера сняла очки, чтобы вытереть слёзы, и я увидел её глаза. «А если, – заливался Дерягин, – если ещё на венике играть – ваще помрут со смеху». – «А тебя три дня не брить, пачку нацепить и – умирающим лебедем на сцену, – без смеха сказал Силуанов. – Самое то убожество получится».

На первом активе выяснилось, что какое-то шевеление происходит после уроков в интернате, но в школу перенести было нечего. Посудачили и разошлись. На второй я принёс «Имена на поверке», Лера достала свой экземпляр, и девчата-активистки подумали, что это наш тайный знак. Послушали, кто как читает. А на третьем решено было создать клуб старшекласников и к открытию подготовить композицию по стихам ифлийцев – послание потомкам. Круг сузился, но встречи сделались ежедневными. Подбирали стихи и песни («Бригантина» стала гимном клуба), разрабатывали мизансцены. «Выступать будем в физкабинете, – сказал я. – Демонстрационный стол разберём, крышку – на пол вместо сцены, тумбы по бокам, доску декорации закроют. И прожектор из эпидиаскопа сделаем – выделять говорящих».

Декорации – это был первый повод остаться нам наедине. Я нарезал обои на полу, склеивал, рисовал контур бригантины, который должен был стать чёрным силуэтом на фоне огромного закатного солнца. Лера сидела на парте, болтала ногами и что-то говорила – мне было всё равно что, я елозил по полу и помалкивал, понимая, что голос-то меня и выдаст. Возвращался домой под вечер и не самой короткой дорогой – мимо Камней, единственного в округе переката на речке. Крутил педали и в какой-то момент подумал: зачем говорить, если можно написать – и той же ночью измарал половину школьной тетрадки. Утром заехал в Бабкин лес, чтобы на знакомом пне перечитать написанное, но в итоге в школу попал под конец занятий и с единственным листком в кармане. Лера мне обрадовалась, потому что разыскивала с утра, а никто ничего вразумительного сказать ей не мог. Она нашла в каком-то журнале вторую декорацию: девушка с поднятой рукой на берегу моря, вид сзади, пара чаек в вышине. Я вернул вырезку вместе со своим листком, сказал, что пока полотно подготавливаю, и ушёл в физкабинет один, поигрывая ключом.

Лера пришла, может быть, через полчаса с моим листком в руке и сказала, что потеряла эскиз. Я принёс из лаборантской свёрнутую штору для затемнения, бросил на пол в проходе между партами и велел ей разуться. На закрытую дверь мы посмотрели одновременно. Я сказал: смотрите на Ньютона. «Встаньте так-то» всё равно бы прозвучало как «встаньте раком», а мне надо было рисовать её со спины. И она стала рассказывать сэру Исааку о моей записке: просто, ясно и при этом стильно и сильно. А самое её любимое – «Голубая чашка». «Что такое

счастье, каждый понимал по-своему», – сказал я. «Да, – сказала она, – Гайдар». Потом мы и на людях перебрасывались такими цитатками-паролями – мол, она знает, что я знаю то, что знает она, и наоборот. И вдруг я увидел, как вся она напряглась: не стало заметно позвоночника, округлилась попка, а икры сделались как у культуристки. Быстро набросал её лодыжки и попросил как бы словить муху над головой – ухватил и линию позвоночника, и плечо поднятой руки. «Можете обуваться», – сказал.

Лера села на дальнюю парту и принялась снова за мой листок. «Правда, здорово! А это на самом деле случилось?» – «Нет, – сказал я, – но могло». Года через полтора она перепишет часть моих записок, отнесёт в молодёжную газету, там выйдет целая полоса, а на открытие поставят этот самый рассказик. Короче, глобус был большой, тяжёлый и стоял в классе на шатком шкафу. На переменах шкаф задевали, и глобус часто оказывался на полу. Его каждый раз возвращали на место, а могли перенести на подоконник или на стол в углу и оставить в покое. И вот «я» решился сделать это сам. Достать глобус даже со стула – нечего и думать, придётся раскачивать шкаф... Когда я наскочил на шкаф с разбега, глобус наконец покачнулся, стал заваливаться, полетел вниз, ударился об пол и распался на две половинки. По классу, нарезая круги, покатились шайба или пуговка, а я стоял и смотрел на расколотую Землю.

Записок будет много, потому что Лера от меня уже не отстанет. Она никогда не разбирала их, как филолог, оценивала самыми общими словами и требовала – ещё. А потом мы болтали о чём попало, при этом мне очень хотелось назвать её по имени, но только она сама могла как надо произносить все эти эр и эл да ещё в одном слове.

Однажды я остался после репетиции в лаборантской, чтобы подготовить какую-то демонстрацию. Василий Александрович специально принёс краюху свежего хлеба, дождался пока мои одноклубники схлынут и, подмигнув, укандылял в больницу к жене. Я нарезал хлеб, достал коробку с разными консервами, и тут в лаборантской появилась Лера. «У вас не заперто, – сказала. – Я не сильно помешаю?» – «Кто мешает, того бьют, – сказал я. – Что вы есть будете?» – «Ой, я и правда голодная! Даже чаю не пила». – «Чаю не обещаю, а два кубика какавы есть, – нашёлся я. – И вот ещё...» Она выбрала кильку в томате, самое то. Я поставил на электроплитку колбу Эрленмейера, приготовил стаканы, накрошил ножом камнеподобные кубики какао. Стол надо было расчистить пошире, я стал убирать книги, а Лере достались вырезки о «Союзе-11», она взялась перебирать их и разворачивать. «Что же с ними случилось?» – спросила. Мы разобрали ложки, начали есть, и я стал рассказывать. В кабине «Союза» были выключены все передатчики и приёмники. Один из двух вентиляционных клапанов – открыт. Плечевые ремни у всех троих членов экипажа отстёгнуты, а ремни Добровольского перепутаны, застёгнут был только верхний поясной замок. «Они пытались ликвидировать утечку!» – «Ну, так правильно ведь?» – «Да, но ты представь только! Закипает кислород в крови. Друг друга они не слышат – барабанные перепонки лопнули. Боль по всему телу – декомпрессия же! В кабине туман после разгерметизации. Закрыли не тот клапан и потеряли время». – «Всё равно, правду мы никогда не узнаем», – сказала Лера. «Правду? Что значит правда? – мне показалось, она просто не поверила мне. – Поддай, пожалуйста, банку с фасолью. Теперь смотри. Что ты сейчас видишь? Круг. А так? Ну не совсем квадрат – прямоугольник. Главное, и круг, и квадрат ты видела своими глазами, значит, и то и другое – правда. Истинным тут будет цилиндр. А если наклеить этикетку какого-нибудь компота, какими будут истина и правда? „Другими“... Просто надо задавать правильные вопросы». – «И какой, потвоему, вопрос правильный?» – спросила она чуть погодя. «Почему», – буркнул я. Тут вода в колбе загудела, выплёскиваясь, Лера протянула руку к горловине, я успел крикнуть: «Ты что делаешь!» – и припечатал её предплечье к столу. «Ничего себе реакция! – Лера засмеялась, потирая локоть. – Делай что-нибудь, выкипит же». Я выдернул шнур из розетки, снял брючный

ремень, обхватил горлышко колбы плоской ремённой петлей и разлил кипяток по стаканам. «Извини», – сказал, ясно сознавая, что мы на «ты» уже минуты три или больше.

Потом я готовил демонстрацию, а Лера читала письма, полученные мной за последнюю неделю. «Ничего не понимаю, но затягивает, – сказала она. – Ты на все отвечаешь?» – «Стараюсь». Писем я получал множество. Моё описание движения заряженных частиц в электромагнитных полях различных конфигураций и напряженностей критиковали за неуместную простоту, но этой же простотой и восхищались. Девчата уже со второго письма начинали интересоваться более широкими темами, потом присылали всякие трогательные вещички; истинно – мы любим тех, с кем нравимся себе.

День, как бы сейчас сказали, презентации клуба наконец настал. Уже зарядили дожди, местные разбежались по домам переодеваться, а мне, приходящему, пришлось шалавиться до вечера в школе. Униформа у нас была простая – белый верх с картонными кружками эмблем на груди, тёмный низ, но девчата что-то такое накрутили на головах, подобрали что-то – картинки сделались. Лера вернулась быстро и накормила меня какими-то пирожками. Мы нервически смеялись, готовя сцену и оборудование, и досмеялись – электричество кончилось. Прибежал Силуанов, не ссать, сказал и умчался выправлять положение. Я засучил рукава и включил аварийный план. Из кубовой принёс четыре керосиновых лампы – еле донёс целыми, по коридорам начались массовые гуляния и жмурки, из лаборантской вытащил два ящика щелочных аккумуляторов – подсоединил «шарп» и прожектор (эпидиаскоп не отключил от сети, и он выдал потом первые и последние тысячу свечей), новообращённый радист Санёк из девятого изготовился работать по экстремальной схеме. Вернулся взъерошенный Силуанов, но, увидев иллюминацию, успокоился, быстро вывел на свет из тёмных коридоров зрителей, и в физкабинете стало не продохнуть.

«Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В флибустьерском дальнем синем море бригантина подымает паруса», – спел недружный из-за моего медвежачьего участия хор, Лера объяснила, кто мы и зачем, и я, ведущий, начал с Рождественского: «Эй, родившиеся в трехтысячном, удивительные умы! Археологи ваши отыщут, где мы жили, что строили мы»... Дальше мальчишки (четверо) читали предвоенную лирику ифлийцев, девчата (пятеро) пели «до свидания, мальчики», и мальчики уходили в потёмки, а я оставался, повыше подсучивал рукава и гнал жути про войну. Мальчики выходили по одному, читали фронтовые стихи и уходили совсем. Николай Майоров, Павел Коган, Леонид Вилкомир, Захар Городисский. Когда девчата начали «в полях за Вислой тёмной лежат в земле сырой», стало ясно, что до публики дошло, и премьера состоялась. Но надо было ещё пережить минуту тишины в конце и общий выдох, и аплодисменты.

Лера подбежала первой, обняла меня, и я осмелился прижать её покрепче, почувствовать и грудь её, и бёдра, и сбруйку на теле – и тут дали электричество, прожектор нас ослепил, и все смеялись и улюлюкали. Подошёл Силуанов, разнял нас и увёл меня в свой кабинет. «Ну, Вадька, за то, что получилось у вас! – сказал, встряхнув кулаками. – На седьмое – в клуб, а потом поездите». Он разлил водку, достал из сейфа открытую банку сайры, хлеб, и мы стали выпивать и закусывать. «У неё же там, – он махнул рукой, – дикая история была с женатым архитектором. Видал, руки все поисчирканы? Вскрывалась. Вот, забрал с собой. Отошла, как думаешь?» А я не видел её голых рук, она их мне покажет только после Нового года, всё покажет. Будет её истерика после материнского письма с какими-то упрёками: «Я же выблядок! Она сама не знает, от кого родила меня, сволочь!» А тогда она влетела к нам и велела налить тоже – ишь, попрятались! Дерягин пришёл с большим куском сала, а перед этим открыл спортзал для танцев, и Санёк перенёс туда магнитофон.

Ходили и мы танцевать. Силуанов вышел с Лерой на круг, а мы с Дерягиным встали к стенке. Потом меня выбирали наши умницы-красавицы – тормошили, прижимались, а Деря-

гин в это время отвлекал их парней разговорами. Силуановские запасы мы добились, я наспех прибрался в физкабинете и впервые пошёл провожать Леру до дома. Оказалось, что квартиру она сменила – на прежней достали какие-то уроды, хозяйкины родственники. Держались за руки, я нёс нашу поклажу, поливал дожидчик, шуршал её плащик, хлопали голенища сапожек, размокшая кепка наезжала мне на уши и на лоб, с козырька капало. Я сказал о силуановских планах, но она их уже знала. Разговор не клеился вообще. Возле дома она сказала: «Я могу войти только одна». – «Тогда до понедельника», – сказал я. Мне до дома оставались ещё километров пять тьмы и бездорожья, по времени – часа два. За селом я продвигался от столба к столбу, чуть не пропустил главный поворот, и всю дорогу твердил: «Но мы ещё дойдём до Ганга, но мы ещё умрём в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя».

Потом будут наши гастролы по соседям, мы порвём всех на районном смотре, выступив в добавок с живой музыкой, а вторую композицию так и не запустим. Девчата кипами приносили свои «альбомы» с Асадовым и безымянными авторами, но и тема любви у ифлийцев прозвучала убедительней. К Дню космонавтики что-то своё мутили уже пятиклашки.

В разлив семьдесят второго, ночью, мы угнали с Вовчиком колхозную лодку, поднялись против течения до самых Камней и начали блаженный сплав по течению. Ночь была белёсой, тихой, и я рассказал другу о Лере. Пора было, потому что после разлива она захотела сама увидеть все наши с ним места, описанные мной за зиму в записках и устно.

Я привёз её на мотоцикле в коляске, высадил в начале нашей улицы, у речки, и отогнал «ижа» хозяину-соседу. Вечер был тёплый, светлый, все лавочки заняты и наша тоже. Сестрёнка моя тут же сбегала на разведку, а Вовчик потом рассказал, что шёл за нами под берегом до ручья, только на Пески не решился – укрыться негде под этой лунищей. Лера ему понравилась. Сейчас не могу даже выдумать, о чём мы говорили в ту ночь. Потом она скажет, что просто любовалась мной, моим горением, какой-то подлинностью, перечисляла кучу вещей, которые стали для неё простыми и понятными благодаря мне. На Горе мы оставили свои знаки на скалистом выходе песчаника, на Песках посидели у костерка, а возвращались самой короткой дорогой – через Камни. Вода спала, я собирался сходу перенести Леру на руках по перекату, но она план разгадала и согласилась ехать у меня на закорках, только чтобы я штаны снял и разулся. «Вернись через мост, до дома высохнут», – сказал я. «Вот именно, а ты станешь калеккой». Под ливень мы попадём через месяц.

Потом нас распустят перед экзаменами, и у меня начнётся сенокос. Сочинение я напишу по Чехову: люди сидят, обедают, а в это время рушатся их судьбы. За математику получу четвёрку только потому, что перед комиссией лягут оба решённых мною и пущенных по рядам варианта. Математичка через много лет признается, что я был лучшим из всех её учеников, а тогда она, дура молодая, захотела дать мне жизненный урок. «Они должны были съесть твои листки!» – негодовала Александра Андреевна. А им представился случай закусить мною, успокоил я её. На консультации из-за сенокоса не ездил, к тому же умудрился отравиться лежалой селёдкой и однажды, приехав сдавать химию, угодил на историю.

На наш выпускной Лера не пришла, потому что с нами не работала, но Санёк донёс её записку, и ночь после выпуска я провёл с нею. В Москву уезжал наутро, автобусом с центральной усадьбы, и мне оставалось часа два, чтобы сбегать домой за рюкзаком и вернуться. Она ждала и проводила, дала свой адрес, потому что через пару дней тоже уезжала, больше её ничто не удерживало. Силуанов сидел на чемоданах давно, жена к нему так и не приехала. Дерягин о возвращении в спорт уже не заикался, в школе ему понравилось, дети пили парное молоко, а штангу и гири он намеревался перевезти за лето. Мы все реализовали смыслы открывшихся нам ситуаций в тот год и могли быть счастливы. «Ты даже не представляешь, что ты для меня сделал», – говорила Лера и тут же жалела, что не научила меня одеваться (сама была в каком-то ситцевом платишке балахончиком), представляла, каков я буду в столице с рыбацким рюкза-

ком и удостоверением личности вместо паспорта. Мы целовались, стучаясь зубами и очками. Исходили все окрестности, стороной проводили наш выпуск за село, встречать рассвет. «Ты хочешь быть с ними», – сказала она, а я хотел быть одновременно в сотне, может быть, мест.

Из университета я написал, что заселён в главное здание, в сектор В, в боксе со мной философ-заочник из Чимкента и – ты не поверишь – Лёшка Федотов из города О.; жара адская, горят торфяники, и Москву заволокло дымом. До экзаменов была куча времени, и готовились мы ночами, когда зной немного отступал. Лёшка был вечерником, лет на семь старше меня, физфаком его заразил какой-то выпускник, с которым они строили бетонку Москва-Саратов. Скоро я стал получать письма от Леры, находил их на широком столе в вестибюле этажа почти каждый день. Ей пообещали место в пригородной школе. Она помирилась с матерью. Сняла квартиру напротив школы. Купила мне шикарный справочник, изданный «Науковой думкой». И вдруг – она испугалась, что никогда не дождётся меня, никогда. Я уже сдал две математики, а Лёшка завалил первую же, но ещё ошивался в университете, попивал «тамянку» и спорил с будущим советским философом как бурсак. То, что я прошёл главный фильтр, нагнало на него окончательную скуку, и он засобирился домой. Я перечитал письмо с «никогда» и сказал, что еду с ним. Потом вместе поступим. За сутки пути Лёшка не закадрил ни одной попутчицы, не развёл никого ни на «буру», ни на «двадцать одно» и только под конец заморочил всем голову пятнадцатю спичками (через много лет, в тюрьме, очень кстати вспомню и я эту беспроегрышную забаву, её нехитрый алгоритм). Я валялся с открытыми глазами на полке, слонялся по вагону, пялился в окна, бормотал в тамбуре «and forget this lost Lenore – quoth the Raven „Nevermore“» и всякую подходящую ересь.

«Спросим: мыши есть?» – придумал Лёшка, когда мы отыскивали наконец нужную квартиру. Дверь нам открыла востроглазая тётенька. «Нам Валерию Ивановну», – сказал я. «А Лера в деревне, к свадьбе готовится», – сказала тётенька, скушав «Ивановну». «К чьей, может я знаю?» – нашёлся Лёшка. Оказалось, к своей. «She shall press, ah, nevermore!» Потом она скажет, что всё написала мне в следующем письме, каждый день ведь писала. Лёшка откровенно радовался и утешал: «Пойдём в башкирские пещеры – мать родную забудешь!» В пещеры он сходил без меня, подхватил геморрагическую лихорадку, и писал длиннющие письма из больницы, подписываясь коротко и ясно: твой Шизя. Я уехал домой, мы с отцом взялись перестраивать баню, а через тридцать лет он наконец сказал, что бабы всю жизнь мне испортили. Я мог бы ответить, что это просто его план тогда провалился, но это был не самый находчивый ответ. Если скорбь и раскаяние служат тому, чтобы исправить прошлое, то я в этом совсем не нуждался. «Merely this and nothing more».

С Лерой мы увидимся через девять лет. Я буду в городе О. по каким-то делам, и друг-приятель уговорит меня остаться на ночь, сходить к художникам – ставропольское вино будет, «битлы», двойной эпловский альбом. Я остался, и мы пошли. Всё было по плану, но в компании появилась некая В.А., землячка хозяев берлоги. В какой-то момент она подседа ко мне и заявила, что знает обо мне всё. «Цыганка, что ли?» – «А Леру хочешь увидеть?» И я вдруг захотел. Они работали вместе, дружили, а больше я пока ничего не хотел слышать. От художников мы возвращались далеко за полночь, в сквере перед нами тормознул милицейский уазик, попутчиков ветром сдуло в кусты, а я остался, потому что во мне уже постукивал метроном какого-то невероятного предчувствия, и я считал себя трезвым. «Какой же ты трезвый, если даже убежать не смог», – посмеялись менты. Я удивился: «Зачем же трезвому от вас бегать?» Короче, заночевал в вытрезвителе. Оправку помню, влажные простыни, правдивые – на голубом глазу – рассказы сокамерников. Выкупать меня пришли в десятом часу. Мы поднялись на второй этаж к начальнику с отчаянной просьбой не сообщать на мою работу, и он оказался сговорчивым. Даже опохмелил нас, но за это мы ему выступление к коллегии написали, на его

взгляд, отличное. Выкуп нам вернули натурой, мы пошли выпивать и думать, где взять деньги на мой отъезд. И вдруг в квартире приятеля зазвонил телефон. «Можете приехать хоть сейчас», – сказала В.А. голосом сводни. Её пришли проведать давние ученики, а она пригласила Леру.

На людях мы обнялись, почти не видя друг друга, и сели в разных углах. «За ней скоро заедут», – шепнула В.А.. Через минуту я выбрался из-за стола и пошёл в ванную. Постоял там, как дурак, помыл руки, ещё постоял, а когда вышел, Леру уже уводили почему-то двое, или второй был из компании. «Так даже лучше пока», – со значением сказала В.А.. Я взял у неё все телефоны, денег на дорогу, и мы тоже отчалили. Едва добрались – звонок: я закрыл кран так, что... в общем, утром я поехал не на вокзал, а снова к В.А., починять водопроводные краны. Она опять пыталась что-то рассказать о Лере, но я прикрыл и этот фонтанчик.

О своих приездах я звонил на телефон школы, и они приходили на свидание вдвоём. «Что ты, тут столько глаз!» – восклицала В.А., а я думал, что она и есть главный соглядатай, куратор всех наших встреч. Лера улыбалась рассеянно и виновато. Обо всех моих публикациях, премиях и некоторых похождениях они знали и без меня, видели оба раза по телевизору, а интервью по радио слушали в учительской, тогда же всем телефонограмма приходила: поддержать цикл «Школа и общество». Прорисовывались разрозненные картинки наших пропущенных лет, может быть, и яркие по отдельности, но, сопоставленные, они тут же одинаково перекрашивались сепией, делались монотонными, жалкими, словно бы эмигрантскими. Возвращаясь домой ночным поездом, я потихоньку выпивал, ходил курить в тамбур и думал о том, что никакого будущего у нас нет. Нас нет – есть она там и я тут. Она там – и тут, выстукивали колёса. Стихов я уже не писал, но чужие помнил: «Кому ж нас надо? Кто зажёт два жёлтых лика, два унылых... И вдруг почувствовал смычок, что кто-то взял и кто-то слил их. О, как давно! Сквозь эту тьму скажи одно: ты та ли, та ли? И струны ластились к нему, звеня, но, ластясь, трепетали».

В сентябре В.А. устроила нам свидание у себя в квартире. Я приехал, и она засобиралась по делам. Лера была в скользком каком-то платье, и её пришлось специально придерживать на коленях, пока она снимала мои и свои очки. «Ты научился целоваться?» – спросила она. Я сказал, нет, потянулся к её красиво уложенным волосам – и сдвинул парик. Она поспешила поправить, но я стащил эту нахлобучку и бросил на стол. Спина её выпрямилась, попка превратилась в гладкий валун, оставленный первобытным глетчером, а на меня посмотрела перепуганная тифозная тётка. «Вот здесь у меня ничего нет, – сказала она, – всё отрезано», – и приложила ладонь к левой груди. Я стал целовать её, куда доставал, и она уточнила, что удалили грудь, а сердце на месте. Я положил её на диван и сказал, что всегда помнил о ней. «А я не знаю, что теперь с этим делать», – сказала она. Не знает, как с этим жить, подумал я. Лера засмеялась: «Ты что творишь, я же в колготках». А я стеснялся на неё посмотреть. В неё и входить, наверное, надо было как-то иначе – она помогла бы, так, да – и дальше ох, и захлопало. Ни продолжать, ни заканчивать я не мог, но выручила В.А., давшая три звонка, прежде чем ворваться. «Он в школу звонил полчаса назад, расходимся, ребята!» Они вышли вдвоём и направились к своей школе, а я захлопнул дверь минут через пять и двинул в сторону проспекта. Шёл и думал о своей первой и последней любви. Хотя, первая, последняя – при чём тут это? Каждая любовь переживается как вечная, но и кончается сразу – ох, и... Или вообще без вдоха. Больше мы не встречались и не созванивались.

Когда Лера покончила с собой, выяснилось, сколько вокруг нас было доброхотов. Они знали о ней столько ненужных им подробностей, о которых я и понятия не имел. Я позвонил сводне, она подтвердила известие и сказала, чтобы я приезжал к ней, и мы сходим на могилу. Я не приехал и могилы не видел. Сейчас уверен только в одном: когда-то я отвлёк Леру от суи-

цида, а через десять лет – подтолкнул. С этим живу, а она смотрит с небес, и я не знаю, как она смотрит.

## Поющая половица

К весне дед совсем ослабел. По морозцу он ещё выходил во двор, долго шёл, подволакивая больную правую ногу, от крыльца к лапасу, а Валерка сбрасывал сверху пласты сена, дымившие сухой травяной пылью, и кричал ему:

– Дешк, ну куда ты? Я сам, лежи иди!

Дед слабо взмахивал рукой, подходил и тоже брал вилы. Лицо его заливал пот, он часто мигал белыми ресницами, и капли соскальзывали, минуя ввалившиеся щеки, застревали в клочкастой щетине, в туго завязанном у подбородка треухе. Казалось, дед плакал не переставая, и Валерка не знал, что ещё говорить ему.

– Лерка, сынок, – тихо выдыхал дед, и слова его гасли в шорохе сена.

Валерка спрыгивал с лапаса на сено, торопясь, растрясывал пласты, разносил потом охапками корове и овечкам, а дед передвигался следом и подбирал на опущенные вилы обтрусившиеся былинки.

– Дешк, всё! Пошли уже.

– Не, стой... погоди, – бормотал дед, – найди-ка проловочку...

Валерка находил вязальную проволоку, притягивал, нетерпеливо загибая концы, какую-нибудь жёрдочку в ограде, а когда заканчивал, оказывалось, что дед и не смотрел за ним. Отвернувшись и уронив вилы, он стоял с опущенной головой, и тряслись в просторных рукавах полушубка его рукавицы.

Вечером бабушка приносила со двора серые застиранные бинты, делала из них валики, пахнущие хозяйственным мылом и улицей, и уводила деда на перевязку. Они закрывались в теплушке, и было слышно, как сначала звякал брючный ремень, а потом стонал и бранился дед. После перевязки он возвращался в среднюю избу раздражённым и приносил тяжёлый запах открытой гноящейся раны, сделавшей его хромым задолго до отца, а тем более Валеркиного рождения.

Дед ложился на свою кровать, и в теплушку, ни на кого не глядя, уходила мать. Там она зажигала газетку, тыкала ею во все углы, брызгала на топчан и занавески одеколоном и спешно, оставляя сенечную дверь приоткрытой, выносила таз из-под рукомойника. Делала она все быстро и молча, так же, как забивала свежим снегом ржавые промоины в сугробе у крыльца, появившиеся после ночи. Вечера становились длинными и тяжкими, и Валерка, не доучивая уроков, стал уходить из дома.

Выходил на задний двор, задерживался у бани, пока глаза ни привыкали к потёмкам, натягивал штанины на голенища чёсанок, чтобы, угодив в сугроб, не начерпать снега, и отправлялся напрямиком на гору. Он старался устать, измотаться, чтобы потом прийти и умереть в постели до утра. Один только раз сорвался под кручу, сбитый с толку налетевшим густым мокрым снегом, оглушившим и ослепившим вдруг, а чаще всего просто шёл, взбирался, тащился километра три и возвращался назад. В голове крутились какие-нибудь случайно навязавшиеся слова вроде «у нас ещё в запасе одиннадцать минут», которые он забывал, раздеваясь в теплушке и прокрадываясь к своей кровати в горнице. Домашние спали, и даже похрапывал, наглотавшись аналгина, дед.

Но однажды, – март был уже на исходе, – он вернулся, а в средней избе ещё горел свет, верхняя лампочка в допотопном шёлковом абажуре. Дед и бабушка не спали, но с ним не заговорили, и он долго не мог заснуть, прислушиваясь и переживая неясную виноватость, забытую к утру. Когда это повторилось, он прекратил свои дальние вылазки, только время от времени стал выходить к речке, где и без него народу по вечерам стало задерживаться немало. На подсохших буграх резались в ножичек, водили какие-то свои игры девчонки, а в потёмках самые

стойкие собирались на брёвнах или около лодки, приготовленной к спуску. Выдуманные истории и вялые споры о пустяках быстро наскучивали Валерке, и он уходил домой.

Когда река очистилась ото льда, деда стали посылать в больницу. Строго настаивала на этом фельдшерица Елена Анисимовна, пугая заражением крови, уговаривала с какой-то опаской бабушка, плакала, не зная, на чём настоять, тетя Надя, и получилось, что дед как бы послушался отца, сказавшего: «Завтра едем».

Рано утром деду переменяли бельё, натянули новые негнущиеся валенки с блестящими калошами, надели отцово пальто и рыжую кожаную шапку. Дед неуклюже поворачивался, переступал ногами, держась обеими руками за стол в теплушке, бормотал что-то скороговоркой и постанывал. Наконец ему дали перекреститься на тёмный угол и повели к лодке. Валерка, задавая корм скотине, задержался, а когда прибежал на берег, лодка с молочными бидонами пересекала уже середину реки, и жутко как-то было на этой стороне. Повиснув на руках отца и тёти Нади, дед плакал в голос, и, видно, уже никто не знал, что ещё говорить ему.

– Дети-ки, – наконец связно выговорил дед, – не возите меня. Дома помру... скоро.

И, возвратившись домой, он уже не вставал больше с перетрясённой постели. Хлопотали вокруг него бабушка и тётя Надя, стала подходить мать, а Валерка находил себе занятия во дворе или на речке, и страшно и неловко ему было случайно наткнуться на дедов беспомощный взгляд.

В теплушке он встречался теперь с пьяненьким отцом.

– Вот, Валерк, дед-то наш, а, – говорил отец, и в уголках глаз у него вспыхивали блики от яркой лампочки.

Мать по обыкновению молчала и выдавала своё раздражение лишь в тех резких, сдерживаемых движениях, с которыми подавала на стол.

– Помнишь, как он был? – спрашивал отец, и Валерка, чувствуя какую-то маету, злился на нелепые, неточные слова. Он помнил, каким был дед, и не мог представить себе, как это его не станет.

Его память, может быть, и начиналась с ясных весенних дней, одним из которых было Вербное воскресенье – чаще всего тёплое, солнечное, каким и должен быть настоящий весенний праздник.

– Ну, так как, – спрашивал дед, – идёшь на Пески?

– А ножичек дашь?

– Да придётся.

Бабушка кормила завтраком, мать наказывала подальше обходить лужи и грязь, и Валерка отправлялся на гору, на первых порах старательно обходя подманы – овражки и выемки, наполненные пропитанным талой водой снегом. На горе или кто-нибудь уже поджидал компанию, или приходилось самому дожидаться. Гребень, обдутый ветрами и уже прогретый солнцем, подсыхал первым, и россыпью белели на нём чистые камушки. Милое дело – швырять их с крутого склона. Камень стремительно описывает дугу и долго отвесно падает. Взгляд прилипает к белому пятнышку, и тогда летящими кажутся пашня, речка, бурый лесок, дорога у подножья увала. Будто сам летаешь, чувствуя холодок в груди и покалывание в ладонях. Да и когда собиралась обычная их «крайнская» компания, они ещё долго не могли покинуть гребень, швыряя камни, следя за рекой, видной с горы на два поворота вверх и вниз по течению; в излучине помещалось всё их родное село.

На другом берегу, по словам деда, рос когда-то густой и могучий лес, речка подтачивала корни берёз и лип, но, видя изо дня в день лишь молодой лесок, непролазный ивняк в русле старицы, верилось в это, как верится в сказки и деревенские байки.

– Наша фамилия тут первой прописалась, – гордясь, любил повторять дед. – Старые люди сказывали, через речку проехать было нельзя, потому как тележные колёса рыба забивала.

Сазаны как чурбаки и леши со сковородку! А лес уже в последнюю войну на пенёк посадили – дрова на станцию возили по разнарядке, паровозы топить...

Порезвившись на увале, шли дальше. Прорезанная лишь в одном месте глубоким логом, их гора соединялась с лощиной, по высокому пологому склону которой сползали к ручью Пески, на которых и росла красная верба. Прямой путь к ним проходил по однообразному ковыльному полю, и здесь высматривали суслиные норы. Если Вербное выпадало поздним, и суслики успевали обновить ходы, то переход на целый час удлинялся – отловить надо было не меньше пяти, чтобы хоть по лапке досталось на позднем привале. Вспоминая дедову науку, Валерка оставлял бездонные точанки другим, а сам выбирал норы с кучками свежавырытой глины у пологих входов – в такие хватало вылить два сапога воды, как на свет божий выбирался мокрый покорный зверёк. Ободранные тушки промывали потом в ручье, обжаривали на углях целиком и уж после делили по-честности. Шкурки забирал на сдачу кудашу-заготовителю проныра Чичика.

На ковыльном переходе издали становились заметными и другие компании. Заметив девчоночью, кто-нибудь выкрикивал: «Кизята!» – и все зачем-то срывались на бег.

– Вперё-о-от! Огонь, батарея, пали-и!

Так и врывались чаще всего на Пески, и редко кто тут же тянулся с ножом за веточками с пушистыми шариками. Куда веселее было, сбросив на кусты одёжку и шапки, пробежать в редком прохладном воздухе, от которого делалось холодно и пусто в ушах, вдоль влажного песчаного склона, врубиться в горьковато пахнущие серебристо-красные заросли, запутаться там и упасть на упругие ветки, повиснув над неопасной кручей.

С Песков уходили не скоро. Затевались игры, порой, сразу несколько. Драки, когда старшие науськивали, натравливали друг на друга младших, на Песках устраивались редко, все, наверное, чувствовали здесь, что дом далеко, да и других занятий хватало.

Обратный путь всегда казался вдвое длиннее. Шагали недружно, почти не разговаривали. Иногда у них ещё хватало сил с криками сбежать по склону горы к селу, но смотреть под ноги, осторожничать уже никому не хотелось. Шли напролом, и кто-нибудь с удивленным восклицанием: «Ого, по кех!» – по колено, а то и по пояс проваливался в коварный подман.

Дед встречал Валерку у задней калитки и говорил весело:

– Отчиняй ворота, едет Степка-сирота!

Потом на виду у домашних он встряхивал вербочкой и небожно ударял его. Дотягивался, изобразив ловкость и молодую прыть, и до бабушки:

– Не верба бьёт, старый грех!

– Чё ж ты, старый, делаешь – поясницу захлестнул!

Отец, глядя на них, улыбался и потихоньку приобнимал мать.

– Сам плётку плёл? – спрашивал Валерку. – Прутки надо разминать дольше, тогда на сгибах не будут лопаться. Показать?

Валерка уже уплетал какой-нибудь пирожок с тыквашкой, подсунутый бабушкой, готов был хоть снова на Пески, и они, трое мужиков, шли ко двору. Отец с увлечением брался за плетение, а дед молчал, постегивал по голенищу сапога веточкой и улыбался, если сын с внуком начинали спорить.

– Ну, мужики, айдате кашу есть, – звала попозже бабушка.

Через неделю, на Светлое воскресенье, она сварит рисовую кашу с изюмом и осколками карамели, а сперва они ели вербную. Серебристых шариков в ней совсем не густо, они не пушатся и не пахнут, сделавшись похожими на рисинки, чувствуется только едва уловимая свежая горечь.

– Каша с весной! – смеялся отец.

И было это совсем недавно, словно вчера, и уже страшно далеко. Так далеко, что Валерке хотелось тихо заплакать, потому что уже никогда не повторятся те походы за вербочками...

На следующий вечер он остался дома. Видел, как кормили ужином деда, приподняв его на подушках, как, сдерживая стоны, молился он, повернувшись неловко на бок, благодарил, наверное, за ужин, съев две ложки молочного кулеша.

– Учи уроки, – напомнила мать.

Валерка кивнул и ушёл в теплушку с первым попавшимся учебником.

– Кто... дома? – услышал он слабый дедов голос.

– Все, – ответила бабушка.

– Мужики где?

– Анатолий на дворе, Валерка уроки учит.

– Пусть... ничего, – отозвался дед.

Бабушка отвечала так же, как, наверное, и вчера и раньше, когда их с отцом не было дома, и дед успокаивался. Было в этом что-то стыдное, будто они с отцом бросили деда. Он оделся и вышел во двор. Тёплая влажная ночь обступила его, а он вспомнил вдруг, как дед учил его кликать жаворонок.

Бабушка пекла штук пять птиц с пшеничными глазами, и надо было влезть на лапас, положить «жаворонку» на голову и петь: «Жаворонушки, перепёлушки, летите к нам, несите нам весну-красну, лето тёплое».

– Громче, громче! – стоя внизу, просил дед. – Ты играй, пой, чё ты как Алену-дуду толмишь!

– Жаворо-онушки, перепё-олушки-и, – начинал подвывать Валерка.

– Хорош, слазь, – звал его дед. – Немтырь ты, как твой отец. А я ещё гармонь собирался покупать! Ешь жаворонку, чего насупился.

И всё-таки Валеркой дед гордился. Рассказывал соседям:

– Ей-бо, не учил – сам! Я читаю, он слухая. Отошёл на двор, прихожу – он дальше читая! Лерк, про кого книжка?

– Про Филипка.

– Ну! Про Филипка!

Валерке шёл тогда шестой год, а грамоте у деда любой мог научиться, потому что он сам читал по слогам и водил по листу пальцем. Дед любил порассказать, повздыхать, но Валерке не хватало терпения его выслушивать. Поэтому и запоминал он истории, вроде того, как дед ездил по селу на верблюде.

– Дешк, а зачем ты на верблюде ездил? – живо интересовался Валерка.

– Покойников на могилки свозил, – вздыхал дед. – Голод тогда был, мёрли как мухи. Потом и верблюда съели.

– А ты, когда маленький был, дрался? – спрашивал Валерка.

– Дрался, – улыбался дед. – Меня из приходской школы выгнали – учителю зубы повывивал, крутанул на ледянке. А на кулачках меня никто не одолевал! Я ловок был!

Дед, казалось, был ловок во всем. Он умел плести кнуты, корзины, огромные короба, чинил на бригадной конюшне сбрую, делал оконные рамы, колёса к телегам и тарантам. Время от времени он загорался научить чему-нибудь и Валерку.

– Хочешь плотничать? – спрашивал.

– Хочу, – соглашался сразу Валерка.

– Тогда вот тебе берёзовое полено – делай себе топор.

– Черен, что ли?

– Сам ты черен! Черен у лопаты бывает. Топорище теши!

В другое время дед таким манером и выучил бы кого-нибудь плотничать, но не Валерку, терявшего терпение в тот же день.

– Ты хоть бы косить научился, пока я не помер, – без особой надежды сказал как-то дед. – Будешь косить? А то, пока отец один пластается, пырей выколашивается.

– Буду, – согласился Валерка.

– Утром пораньше вставай, и сходим, росу захватим.

Валерка тогда схитрил. Привязал консервные банки к воротам, и, как только мать открыла их, чтобы выгнать скотину, он и услышал звон, кровать его у окна стояла. Мать отвязывала банки, снова брэнча ими, и он, часто моргая, старался согнать липкий сон. А когда глаза перестали сами собой закрываться, лёг на спину и стал слушать. Ровно дышал отец в спальне, позвякивала чашками бабушка в теплушке, деда слышно не было. Потом в средней избе послышался какой-то шорох, кряхтение, а следом тонко пропела расшатанная половица у дедовой кровати. Валерка выскочил из-под одеяла, быстро оделся и как ни в чём не бывало вышел к деду.

– Лерк, эт ты, что ль? – спросил тот, застегиваясь, а потом так и рассказывал: – Я говорю, Лерк, эт ты, что ль? Он говорит, я. С коровами сам поднялся! А косил как! Все калачики, весь полынок на задах посшибал.

– Умеет, значит, косу держать? – улыбался отец.

– Умеет! Ты его теперь в степь бери, пусть клевера попытает, пырейчика – пойдёт дело!

Вскоре наступило какое-то затишье. Состояние деда не менялось, и однообразные вечера снова стали надоедать Валерке. Он силой удерживал себя дома, старался найти какое-нибудь занятие, но подойти к деду, поговорить с ним так и не осмелился. Зато отец приходил теперь с работы пораньше, помогал Валерке вытащить навоз, а после ужина подсаживался к деду.

– Ну как, тять, нынче дела? Не полегчало?

За деда ответ держала бабушка, и отец, просиживая около дедовой постели и глядя на деда, разговаривал с ней.

– Может, всё-таки поедем в больницу? – спрашивал.

На этот вопрос, качая головой, дед отвечал сам.

Валерка смотрел издали, и у него перехватывало горло.

То и дело дед как бы засыпал, даже слабо похрапывал во сне, тогда его оставляли одного.

Всполошились дня через два: перестал есть. Придя из школы, Валерка услышал разговоры, постукивание посуды в средней избе.

– Отец, слышь, проглони ложечку, – устало говорила бабушка.

– Папаш, супчика попробуй, – помогала ей мать.

Но особой тревоги Валерка не почувствовал и вечером ушёл на подсохший выгон, где теперь играли в лапту. Вернувшись, он отправился спать, заметив, что в средней избе зажгли светильник. В красноватом свете он увидел тёмный угол дедовой кровати и сидящую за столом бабушку. Дед тихо постанывал.

Валерке показалось, что он едва успел закрыть глаза, как его разбудили непривычно громкие голоса. Не стараясь понять, о чём говорят, он торопливо оделся. В средней избе ярко горел свет, и деда обступало много, в первый миг показалось – целая толпа людей. Отец, мать, тетя Надя, соседи. Бабушку за ними не было видно.

– Отец, ты меня слышишь? – измученно звала она. – Махни головой, махни!

– Тя-ятя-а! – сквозь всхлипы и рыдания тянула тётя Надя. – Просни-ися! Тя-атя-а!

У Валерки ком застрял в горле. Его никто не заметил, не подозвал и не окликнул.

– Ставьте свечку, – со свистом шмыгая носом, сказала соседка.

– Да живой он, живой! – закричала тётя Надя и вдруг вскочила к деду на постель. – Тя-атя-а!

Мать отделилась ото всех, хотела, наверное, выбежать в теплушку и увидела Валерку.

– К Шаховым, к Шаховым иди, – проговорила скороговоркой. – О господи...

– Он живой? – бросился за ней Валерка.

– Живой пока. Ты иди, иди, там ночуй.

Валерка надел куртку, пошёл в дом тёти Нади.

У Шаховых горел свет на кухне. Валерка остановился, соображая, с какими словами войти туда, но слова не нашлись. Дядя Лёша сидел за столом с остатками ужина и, увидев Валерку, поднялся.

– Помер? – спросил, берясь за пуговицу на рубашке.

– Нет, – ответил Валерка и услышал себя словно со стороны.

– Фу-ты! – передохнул дядя Лёша и сел на место. – А чего за Надей прибежали?

– Спит он, никого не слышит.

– Значит, помрёт, – опустил голову дядя Лёша. – Ты раздевайся, сейчас Витька подойдет.

У нас будешь ночевать? Да-а... Помрёт Иван Михалыч, а я и прошенья не попросил. Будет и там на меня обижаться. Да-а... Ты, Валерк, ложись на нашей кровати, я тоже к вам пойду. Ложись. Здорово не переживай, дед твой хорошо пожил. Ложись.

Чужая постель, чужие запахи и даже особенная какая-то тишина окружили Валерку, и он казался самому себе маленьким и забытым. «Зачем же я ушёл?» – подумал он наконец. Но с постели не встал, а только накрылся с головой одеялом.

Утром его разбудил Витька.

– Вставай, а то я дом запру, – сказал он, запихивая учебники в сумку.

– Ты в школу? – спросил Валерка.

– Я в школу, – вздохнул Витька, – это тебе можно не ходить.

– Почему?

– Дед-то у вас жил.

– Ну и что? – Валерка сел на постели и поежился.

– У вас и умер. Хоронить будут, я тоже не пойду.

– Когда умер? – Валерка уже вспомнил всё, но ни горя, ни беды не почувствовал, и ему стало стыдно. – Когда?

– К утру, отец приходил... Дурак я, надо было после восьмого в техникум поступать.

«Я внук, и он внук», – подумал Валерка.

К своему дому он старался подойти незамеченным. Стыдно было бы встретить кого-нибудь по дороге.

В сенях Валерка наткнулся на радиоприемник, стоящий на полу, включил свет и пере-ставил его поближе к груде других вещей, вынесенных из комнат.

В доме теперь хозяевами были близкие и дальние родственники. Тётя Лиза возилась у печки, громко переговаривались у стола, засыпанного мукой, стряпухи.

– Валерк, ты умеешь примус разжечь? – спросили его, он кивнул. – Раскошегарь где-нибудь в мазанке, кур надо палить.

И Валерка понял, что ему надо делать: помогать любому и каждому, крутиться, чтобы не было времени присесть или зайти в дом, к деду. И он крутился. Отец привёз на грузовике гроб и старый катафалк, называемый просто станком, выпил кружку воды и поехал за крестом-пирамидкой в кузницу. Он тоже дело делал, и Валерка не знал, его ли оно сейчас. Бабушка и тётя Надя, наверное, и не отходили от деда.

К ночи небо нахмурилось, потянул сырой ветерок вдоль улицы, но к их дому всё равно стали собираться старушки. Не зря, наверное, это называлось у них «службой». Только дед, как ни любил петь, ни на одну, сколько помнил Валерка, не ходил, даже в метель бабушке приходилось долго упрашивать его, чтобы проводил хоть до бабки Онички. Валерка пытался вспомнить ещё что-нибудь про деда, но ничего путного на ум не приходило. Он просто видел его перед глазами – и всё.

У Шаховых они выпили с Витькой по стакану чая и сыграли две партии в шашки.

– Я уже сказал классной, что завтра в школу не приду, – сказал Витька.

Спать легли рано. Уже в полудрёме Валерка слышал, как пришли дядя Лёша с отцом, но о чём они говорили, уже не понимал. Гранёные стаканчики не звенели, а только лишь тукались вразной о столешницу.

Утром они шли по улице вчетвером. Только что кончился дождь, грозился пролиться новый, и старшие хмурились.

– Суровый был Иван Михалыч, вот и погода под него подладилась, – сказал дядя Лёша. – Хорошо, что могилу вчера кончили. А вам, братовья, придётся на переправе подежурить, Вальку с зятем встретить.

– Встретим, – пообещал Витька, и они сразу отправились на речку.

Молочные бидоны уже увозил трактор вдоль левого берега на центральную, а к правому причаливала лодка.

– Вон они! – обрадовался Витька. – Плынут.

По скользкому берегу Валентина поднималась первой да еще подтягивала за рукав мужа Николая.

– Вынь ты хоть руки из кармана, ворон! – прикрикнула.

– Да ладно тебе, – нетвердо отвечал Николай.

– Здорово, братовья, – приветствовала их, подавая сумку. – Дома ещё дед?

– Дома, – ответил Валерка и смутился; Валентина заражала всех каким-то своим микробом.

Дома она притихла, пустила слезу и велела Николаю раздеваться. Они прошли в горницу, и, увидев их, тётя Надя осевшим голосом заголосила:

– Де-тыни-ки мои-и, и где же ваш-и де-души-ка-а! О-ох!

Николай подошёл ближе и поддержал её за плечо. Валентина заплакала. Когда тётя Надя, охая, стала умолкать, она подошла к гробу и заглянула деду в лицо. Через несколько минут Николай курил с мужчинами в сарае, а сестра, нацепив вынутый из сумки передник, допрашивала тётю Лизу, кто что готовит на поминки и насколько всё готово.

Валерку опять приставили к примусу следить за лапшой. Накрапывал дождь, и ветер зашвыривал мелкие холодные капли в раскрытую дверь мазанки. Ровное гудение примуса срывалось, но Валерка не двигался с места. Он всё пытался разобраться в происходящем, всему определить своё место, но сделать этого до конца не мог и чувствовал себя растерянным, позабытым и лишним. Ему казалось, что приготовления ведутся уже целую неделю, и хотелось, чтобы они поскорее закончились и всё пошло бы по-старому.

Откуда-то появился озабоченный отец.

– Так, Валерк, решили, что крест вы с Витяем понесёте. Стойте с ним у ворот и ждите. – В руках он держал стопку чистых полотенец. – Не знаю, подвязывать вам... Возьми на всякий случай в карман. Значит, стойте и ждите.

Валерка вспомнил дружинные сборы. С пятого класса он был горнистом, и вот что-то похожее творилось перед сборами. Ему натягивали на голову пилотку с кисточкой, повязывали красную ленту через плечо и ставили рядом со знаменосцем. «Стойте так и ждите, – торопливо говорила вожатая. – Как скажу...» И как только она выкрикивала: «Внести знамя!» – Валерка вздрагивал и второпях стучался зубами о мундштук горна.

Лапшу забрали, и Валерка остановил примус. Дождь на дворе усилился, и все прятались по закутам и в доме. Кто-нибудь да повторял дяди Лёшины утренние слова: «Сурьёзный был Иван Михалыч, и, вишь, погодка-то».

Потом они стояли с Витькой у ворот, держа пирамидку с крестом из железных прутьев, и ждали выноса. Краска ещё не успела подсохнуть и пачкала руки. Сенечная дверь им была не видна, и о выносе Валерка догадался из разговора.

– А чё ж не на руках-то? – спросил кто-то.

– Да он не партийный. Просто старик.

Послышались слабые причитания, комариное гудение монашек – пора было трогаться.

Пока шли до школы, бывшей когда-то церковью, снова налетал дождь, но шага никто не убыстрял. Валерка переставал временами чувствовать свои ноги в тесных сапогах, онемевшие ладони, прилипшие к пирамидке, слух его заполняли какие-то тягучие неясные звуки, и ему казалось, что он сам угасает и распадается.

Возле школы остановились, появился Михаил Фёдорович с фотоаппаратом, и Валерка оказался вдруг рядом с гробом. Но прежде он увидел родных. Искажённое, съёжившееся лицо бабушки, широкий бледный лоб тёти Нади, красные, ввалившиеся глаза матери, землистое лицо отца и глуповатое расплывшееся лицо Валентины – всё отпечталось как на фотографии. Деда Валерка не узнал. Лоб и подбородок его опоясывали желтоватые бумажные полоски с церковными буквами, закрытые глаза провалились в черные лунки, куда затекли капли дождя.

– Внимание, – вежливо скомандовал Михаил Фёдорович. – Секундочку... Извините.

Пора было трогаться дальше.

– Ты – слева, – уточнил Витька.

До кладбища дошли быстрее. Валерка вроде бы думал о чём-то, но о чём – вспомнить потом не мог. Их догнал дядя Лёша и показал, куда нести крест.

Закончилась протяжная немая минута, бабушка, прислонившись к крышке гроба, слабо, без голоса, завывала, и Валерке почудился какой-то всеобщий плач, от которого вдруг сдавило голову и перехватило дыхание. И опять пошёл дождь.

Гроб обвязали веревками, люди расступились, и он поплыл над землей, над красной ямой, качнулся и пошёл вниз. Верёвки ослабли, потом натянулись снова, и из ямы показался перепачканный глиной мужик. «В подкоп вставил», – доложил он отцу. Бабушку подвели к краю, и из её кулачка выпала земля. Землю стали бросать все, и Валерка захватил горсть из-под ног, но это была грязь и кусок плиточника. Бросить в деда камнем он не посмел.

Только через час собрались поминать деда Ивана. Кухарки вернулись ещё от школы, приготовили столы, сдвинув три в передней и два в средней избе, от соседей принесли лавки и клеенчатые скатерти. Валерка снова был на подхвате и понемногу освобождался от оцепенения. Потом, когда всех усадили, им с Витькой тётя Лиза накрыла на стол в теплушке. Хлебная лапшу, Валерка прислушивался к разговорам за столами и понимал, что вспоминают там деда. Он тоже хотел бы что-нибудь вспомнить и рассказать, но ничего путного на ум не шло.

– Ребята, скотина на вас, – напомнила, пронося из сеней какое-то угощение, мать, и они с Витькой встали из-за стола.

А погода к вечеру стала меняться. Тучи посветлели, и, хотя они всё ещё летели на северо-восток, у земли ветер притих, и на западе проглянуло какое-то запаренное солнце. «Деда схоронили, и солнце вышло», – подумал Валерка.

Когда он вошёл в дом, в теплушке закусывали кухарки. За столами пьяно разговаривали несколько мужиков, но и они вскоре вышли во двор. Мать собиралась отмывать затоптанные полы, и Валерка помогал ей вытаскивать столы и лавки. Пустея, комнаты становились гулками, как в новом доме.

И наступила минута, когда в доме стало совсем тихо и пусто. Родственники ушли, тетя Надя с Валентиной увели бабушку к Шаховым, а мать и отец задерживались где-то во дворе. Валерка повесил свою куртку на опустевшую вешалку и огляделся. Ходики в теплушке стояли, и он не знал, когда можно будет пустить их снова. Зеркало завешивала старая козловая шаль, и грязь, грязь под ногами, как бригадной конторе.

В средней на месте оставался только шифоньер, все прочее было свалено где-то в общую кучу. В углу, где стояла дедова кровать, свисал со стены рисованный масляными красками коврик с лебедями, ниже, до самого пола чернела промокшая за зиму стена. На полу лежала алю-

миниёвая ложка, и Валерка пошёл, чтобы поднять её. Шаги отдавались близким эхом, и вдруг посреди тишины громко и очень знакомо скрипнула половица. Одна-единственная на весь дом, та, что была у дедовой кровати. Валерка замер на ней, не дойдя до ложки, потому что у него вдруг оборвалось и полетело куда-то сердце. Он растерянно шагнул вперед, и, отжимаясь, половица пропела снова. Нагибаясь за ложкой, Валерка присел, привалился спиной к стене, и у него впервые за эти дни откуда-то прорвались слёзы.

Он уже, наверное, подвывал, когда появился отец.

– Валерка, ты чего? – полупьяно спросил он от порога, подошёл и присел напротив. – Ну, перестань, слышишь? Таким молодцом держался.

И Валерка заревел в голос.

– Ну, сынок, – нетвердо пытался уговорить его отец. – Чего ты. Дедушка у нас пожил, нам бы столько... Ну-ну. Перестань.

Сквозь слёзы Валерка видел на полу дурацкую ложку и понемногу затихал. Ещё вздрагивая от слёз, он поднялся и, шагнув, наступил на расшатанную половицу.

– С-слы-шишь?

– Кого? – не понял отец.

– Ну, скрипит! – крикнул Валерка. – Дедушка наступал – она скрипела. И все!

Отец тоже поднялся.

– Что всё?

– Его нет, а она скрипит! И всё! Я даже не знаю, откуда у него эта рана была.

– Погоди, погоди, – отец почесал лоб. – Как это ты не знаешь? Ты о чём?

– Деда нет, а... а я ничего не помню, – у Валерки снова покатались горячие слёзы. – Как не было... одна половица осталась.

Отец молча смотрел на него.

– Не одна половица, – наконец сказал он. – Раз ты её запомнил, значит, не одна. Ты погоди, ты успокойся. Пошли-ка, поговорим с тобой.

На пороге стояла мать и смотрела на них, держа на весу мокрую тряпку.

\* \* \*

Теперь этот текст стал «хрестоматийным», и нынешние восьмиклассники на уроках литературного краеведения проходят по нему тему памяти и связи поколений. Выясняют значения местных устаревших слов, а стихи, написанные автором в схожем возрасте, у них напечатаны прямо в учебнике: «В завозне славно пахнет дёгтем и конской сбруей, и дымком, и стружками. Разметив ногтем, колдует дед над чурбаком. Выходит ловким топорище...» Или вот более подходящее: «Пришло известье: продан отчий дом, нашлась цена углам его и печке, и детство приютилось на крылечке – ему не место в том мирке чужом. И тщетно я хочу теперь узнать, о чём поёт восьмая половица, что новому хозяину приснится, когда начнут метели завывать». И пока автор жив, восьмиклассники готовят ему вопросы. Их неизменный учитель Василий Иванович, давно защитивший на этом деле кандидатскую сразу по двум специальностям, выстраивает вопросы по одному ему известному ранжиру, а лучший, самый оригинальный или неожиданный, каждый раз предстоит определить автору; за него – высший балл в журнал и временные побрякки. В только что завершённом учебном году восьмых было три класса, и только один вопрос заставил автора стусеваться: «Мы знаем, что рассказ автобиографический, почему же одни персонажи названы по-настоящему, а другие – совсем непохоже?»

Изо всех сил сокращая малодушную паузу, автор с ходу понёс о том, что и любая проза автобиографична – основана на жизненном или духовном опыте, всё дело, наверное, только в степени соответствия, что надо различать подлинность и достоверность, и договорился до того, что и у всякой мемуарной литературы всё та же цель – создать произведение искусства, такое же убедительное, как роман, и не менее реалистичное, чем история. Оста-

ваясь честным перед мальчиками и девочками, автор прибавил, что как в романе необходимо говорить правду, так и в биографии можно кое-что выдумать. Тут Василий Иванович мягко, но настойчиво прервал монолог и сказал, что, кажется, проблема с лучшим вопросом решена.

Два года назад лучший (неожиданный и оригинальный) задала одна из нынешних выпускниц: «А кто была ваша муза, когда вы начинали писать?» – на который в классе автор ответил коротко и невнятно, а потом, вдвойне переживая нечаянную вину, сел и написал свою love story. Первым читателем, как давно уже повелось, стал Василий Иванович, не преминувший уточнить: а не слишком ли откровенно? На что автор в свойственной себе манере ответил: может быть, хотя это и не самая похабная история. Во всяком случае, ему терять нечего, а любой заурядный случай может быть рассказан, как детектив. За сюжетами при этом далеко ходить не надо, потому что реальная жизнь на удивление сюжетна.

## Самовольник

Председатель подрулил на своем «газике» к скотному двору в половине седьмого утра и тут же, в воротах, задержал двух доярок. Шевелилка несла домой трехлитровый бидончик с молоком, а Вера Гостева – с полпуда-пуд концентратов в мешке. Скандальничать, отпираться женщины не стали, вернули всё, куда положено было, сильно оконфузив перед начальством учётку и зоотехника, а через четверть часа Шевелилка стукнула под окно бригадиру Рыкову:

– Иди, Петрович, в контору, мы на воровстве поймались.

Председатель, в шляпе и тёмной болоньевой куртке с матерчатым воротником, сидел за бригадирским столом, теребил какую-то бумажку и в этот момент сильно походил на себя прежнего – главного инженера райсельхозуправления.

– Пришли? – Он приподнял голову, посмотрев куда-то мимо Рыкова, и тот невольно обернулся: с кем это он мог прийти в такую рань да еще в правление? – Суть дела ясна?

– Да вроде, – Рыков пожал плечами.

– Это ведь не в первый раз, я так понимаю?

«Правильно понимаешь», – мог бы ответить Рыков, но промолчал.

– Надеюсь, не надо напоминать, что по этому поводу в законах, в уставе колхоза сказано? Гостева и Салтанова задержаны с поличным.

– Они же вернули всё, – сорвалось у Рыкова с языка. – Хотя, конечно... Ладно, пригляжу сам ещё. Повторится – спросим по закону.

– Хорошо, – неожиданно быстро согласился председатель. – Это последнее условие. Повторится – спросим.

Рыков эти слова понял правильно и нахмурился.

Не рассиживаясь, председатель уехал на центральную усадьбу. И тут же из-за угла конторы появилась Шевелилка.

– Ну чё, Петрович, под суд?

– Вас, что ли? За то, что обнаглели, надо бы.

– А чё мы?

– Да ничего! Ты бы ещё серединой улицы домой с фермы ходила.

– Ох, и когда ж и правда не таясь домой ходить станем! – переменяла тон доярка. – И что только за жизнь проклятушая!

– Ну, это ты... ладно, – потише сказал Рыков. – Но чтобы на глаза больше не попадались, сам проверять стану.

И проверял потом ежедневно, оказываясь на ферме к концу дойки. В осенних потёмках приходилось выискивать короткие дороги, и вскоре бригадир доискался: забыв о разрытом накануне водопроводе, со всего маха ухнул в траншею, хлебнул глинистой жижи, и два ребра у него, как потом оказалось, дали трещину. На молоковозе Рыкова доставили в участковую больницу, но там он позволил лишь осмотреть себя, наложить тугую повязку на грудь и с тем же молоковозом вернулся отлёживаться домой.

Первые дня два сильно надоедали завфермой и агроном, отвыкшие командовать, но потом даже на проулке, где жил Рыков, появляться перестали. А он, наоборот, всё тоньше прислушивался да присматривался, не нагрянет ли кто, и, если жена докучала, сердился и грозил завтра же выйти на работу.

– Три дня дома посидел, и уж тошно ему, – обиделась жена. – Раз я тебе мешаю, отпустил бы к Людке, – и потом ухватилась за эту мысль всерьёз: съезжу да съезжу.

И Рыков разрешил, махнув рукой: езжай.

Обеды приносить и приглядывать за скотиной согласилась неразговорчивая свояченица, и Рыков как бы совсем один остался. Решил было разок выбраться на бригадный двор, к куз-

нице, но остановила одна ехидная мыслишка: «Рыков вам плохой? Ладно, покрутитесь без него».

И такая объявилась прорва времени, что на второй день своего одиночества Рыков думал, позеленеет от курева и от лежания опухнет. Навалилась опять непогода, и он проводил время, сидя перед окошком, выходящим во двор, слушал радиоприёмник, шёпотом повторяя незнакомые слова и морщась от набивших оскомину, которыми скорее всего одаривали людей ничем не лучших кирюшкинских мужиков и баб, тридцать лет выполнявших его, Рыкова, указания, что в поле, что на ферме.

«Надо дело делать, а не языком молотить», – бормотал, приглушая радио. Сам он всегда говорил только дело и о делах. Не всем приходились по нраву его распоряжения, ну, да он ведь не сватался. Строгость требовалась после войны, когда легко было среди стольких баб свободных скурвиться, а потом это стало привычкой. Да и распоряжений он никогда с бухты-барухты не отдавал, потому что, объезжая поля и ферму на тарантасе, в который неизменно был впряжен неторопливый мерин Лихой, успевал обо всём и так и эдак передумать, не то что агроном или механик Володин, мелькавшие на своих мотоциклах. А ещё чаще Рыков обходился вообще без всякого транспорта. Ходил он ссутулясь, косолапил вдобавок и знал, что многим при взгляде на него со стороны казалось, будто он ещё позавчера командовал конным эскадроном. По селу им страшили маленьких ребятишек: «Играй на дворе, Андрюшка, а то Рык придёт и в колхоз заберёт». Обо всех разговорах он или догадывался, или знал доподлинно.

Особенно Рыков не любил, когда кто-нибудь заговаривал о намерении податься из Кирюшкина по столбовой дороге с домочадцами и пожитками. Но вида никогда не показывал, а подыскивал какой-нибудь рычажок, струнку даже, сыграв на которой, придерживал говоруна на месте до весны, до осени – до сколько хватало. Потом ещё что-нибудь находилось.

«Да куда же вы прётесь-то? – хотелось иной раз высказаться ему напрямую. – Зашиваетесь тут, что ли? Ведь бабы хлеб начисто печь разучились, каждый день вам магазинный кирпич подавай! Кизяк трактор делает. Вместо скворешен – антенны над крышами. На огородах – водопроводная вода! На легковушках картошку полоть ездите».

Но ничего этого не говорил Рыков, понимая, что на все его речи, чем длиннее они будут, тем короче ответ найдется. «А вот потому мне и всё равно, где жить», – скажет какой-нибудь и уж, если с характером, от своего не отступит, хоть ты ему лоб озолоти.

И народ в Кирюшкине редел. Крепкие хозяева, правда, с места не снимались, но потихоньку переходили на лёгкие работы, становились на баланс в райсобес. Но и эти настрой своим наследникам делали: уезжай, мол, сынок, и не думай, пока ноги таскаем, поможем, а тебе тут делать нечего. То же самое пела когда-то его дочерям и жена, а он только закипал бессильно, зная, что выплывает всё на народ, но помалкивал и не мешал «женскому персоналу».

Бригада его пока ещё держалась и в колхозе погоду делала. Рыков видел, что у других бригадиров вообще плохи дела – в погонял каких-то превратились, а то и рассыльного, и скотника замещают. У него всё же порядка побольше, только вот новому председателю этого не видать.

На разные размышления сбивался Рыков, пока его рёбра срастались. И всё-таки беспокоило, что совсем забыли про него помощники. Пробовал он расспросить о том о сём свояченицу, но та была домоседкой, а, управляясь сейчас на два двора, вообще интерес к сплетням потеряла.

И решил Рыков прервать свою отсидку.

Погода с вечера испортилась, ветер подул, потащил низкие тучи, но это не изменило решения. Лёг Рыков пораньше, без привычки долго ворочался, наконец, уснул и вроде бы тут же проснулся. Но нет, часов пять продряхнул. Ветер тем временем заметно ослаб, помирнел и не так громыхал железным листом на крыше веранды. Не было слышно и шелестящего шума клёнов в палисаднике.

«Дождик, что ли, пробрызнул?» – подумал Рыков, приподнялся над изголовьем постели, стараясь не обращать на легкую боль и свербёж под повязкой никакого внимания, включил приёмник. Пёстрый, красноватый свет шкалы осветил край стола, пачку папирос и спички.

Добравшись на ощупь до выключателей, Рыков щёлкнул тем, от которого загоралась лампочка во дворе, и подошёл к окну. Ослепительно белые, во дворе мельтешили крупные снежные хлопья, успевшие устелить двор, налипнуть на столбы и перила крыльца.

«Семнадцатого октября-то?» – с сомнением качнул головой Рыков, не отрывая глаз от прерывистого из-за ветра свечения снежинок.

В теплушке он поставил на электроплитку чайник, достал из эмалированной кастрюли три последних сухаря, килограмм которых покупала перед отъездом жена.

Снег завихрился, мягко касался чистого стекла. Поглядывая за окно, Рыков не суетился, не спешил и, как редко у него бывало, перед завтраком не закурил.

Его отвлёт закипевший чайник, и он лишь почувствовал, что во дворе кто-то появился, на секунду промелькнул тенью. Снаружи в незапертую дверь стукнули три раза, и Рыков торопливо вышел в сени.

– Кто? – окликнул потемки.

– Ты живой, Петрович? – глуховато донёсся голос Генки Воробьёва.

Рыков приоткрыл дверь.

– Живой, – обронил нестрого. – Ты чего?

– Да это, – Генка мотнул головой и ударил себя по плечу, сбивая снег, – курево кончилось.

Рыков отворил дверь пошире.

– Выдели с полпачки, – попросил Генка.

– Заходи.

Генка начал отряхиваться, стучать сапогами, и Рыков позвал его уже из теплушки.

– К столу проходи, не стой под порогом. Так. Закуривай!

Генка зябко передернулся, потрогал малиновые от морозца уши, взял папиросы.

– А теперь говори, почему тут очутился? – тоже подсев к столу, спросил Рыков.

– Не хотел ведь заходить – и вляпался, – ухмыльнулся Генка. – Я думал, бригадир, ты на отсидке помякше стал.

– Ты почему тут оказался? – настойчиво повторил Рыков. – Твой дом до сих пор на другом конце был. Пятый час ночи. . .

– Дома у меня, Александр Петрович, нету, – вздохнул Генка.

– Та-ак, – Рыков тоже взялся за спички. – Значит, снова – здорово? Когда ушел? Рассказывай!

– Было бы что, – качнул головой Генка.

– Ты же месяц, считай, не пил! Опять?

– Да не в том дело. Надоело всё, понимаешь.

– Жена где? – перебил его Рыков.

– Жена на месте, – усмехнулся Генка. – А я как последний барбос.

– Барбос и есть! – повысил Рыков голос. – У Шевелилки ночевал?

– Шевелилка, Петрович, челове-ек, – блаженно протянул Генка. – Сейчас вот говорит: снег прочен, когда упал ночью!

– Так, – Рыков потёр висок. – Она на дойку вовремя ушла? А, ну да, не ушла – ты бы по улице не слонялся. Значит, так, счас к твоей пойдём.

Он прихлебнул горячего ещё чая и отодвинул сухари, показывая, что решение принял.

– Не горячись, Петрович, – попросил Генка, – я все законно сделал. И депутат был, и понятые. Мне, короче, костюм достался, мотоцикл и поперёшная пила.

– Ты что мелешь? – не поверил Рыков. – Какой депутат? Почему я не знал?

– И хорошо, что не узнал, – твердо проговорил Генка. – Я и постарался, чтобы без тебя обошлось.

– Зачем?

– Так ведь ты бы опять налетел: «Вы что, сукины коты, вам чего не хватает? Пейте при мне мировую, и чтоб завтра на работу!» Сколько мы таких мировых попили? А теперь суд скоро, разведут.

– Н-ну, ладно, – выдавил из себя Рыков, сцепив на столе ладони. – Ты же видный парень был, – сказал с сожалением. – Может, все-таки сходим?

Генка взял вторую папиросу и внимательно посмотрел на бригадира.

– Я не пойму, Петрович, зачем тебе всё это надо? Ничего ведь у нас не изменишь. Зачем тебе вообще и сельсовет, и прокуратуру заменять? Ты глянь, в кого ты людей превратил.

– В кого, интересно? – с усмешкой переспросил Рыков.

– Ну, я не знаю... Соседи ведь из-за тебя друг друга боятся.

– Что ты говоришь! А почему боятся, ты подумал? Если ты честно, открыто живёшь, чего тебе бояться-то?

– Я не про то.

– А я – про то! – Рыков возвысил голос. – Не делай дурного и живи открыто! Работай! Вот что я говорю, а вы из меня пугало делаете.

– Ну, а ты что, хочешь удержать, что ли, всех? – спросил резковато Генка. – Воруи, тащи, только работай, оставайся там, куда тебя поставили. Так, что ли? Ты же, когда и отказываешь в чём-нибудь, думаешь: ничего, мол, сами проживёте, скотину прокормите...

У Рыкова дёрнулась щека.

– Вон ты про что: «прокормите». Ты же шофер, пшеничку получаешь каждую осень. Съездил на мельницу, раздробил, смолот...

– «Раздробил, смолот», – живо подхватил Генка, – и скормил всё за два месяца! А это... антимионии разводить... Какой же ты бригадир, если про людей как про лошадей думаешь?

Рыков поднялся на ноги.

– Так, значит, не дождётеесь никак, когда Рыкова от вас уберут? – спросил с нажимом. – Не видите, что через Рыкова вы до сих пор и живёте по-человечески? Прижали вас? Дыхнуть вам не дают? Рыков плохой стал, ишь! Чего вот ты расселся тут? Из семьи ушёл, гуляешь с...

– Стоп-са! – Генка вскочил. – Остепенись, бригадир! Забыл, кто Шевелилку овдовил? Командир! У самого двор – не двор, а сам...

– У меня?! Забулдыга чёртов! Ты зачем сюда пришел? Стой! Сядь!

– Сам сядь! – Генка надвинул кепку и пошёл к двери.

– Стой! – приказал Рыков. – Ты почему так разговариваешь?

– Как? – удивился Генка.

– Ну... орёшь. Я тебе кто? – Рыков силой ужимал себя, голос его сел. – Я тебе в отцы гожусь... Проходи назад, сядь.

Генка остановился у двери, яростно взглянул на стол, где лежали папиросы, ударил зачем-то себя по карману и ухмыльнулся.

– Ладно, спасибо этому дому, – проговорил нервно и, ударив плечом в дверь, скрылся в сенях.

– Стой, говорю, – запоздало окликнул его Рыков и услышал, как хлопнула наружная дверь.

«Гость, мать его», – подумал раздражённо, вернулся к столу и сел. «Самовольник чертов, – продолжали крутиться вокруг Генки мысли, – на семью ему наплевать, на всё ему наплевать. С Шевелилкой спутался... „Кто её овдовил“. Герой!» Обидно было. Да ещё один тут как сын.

Снег за окном не редел, не кончался, и Рыков подумал, какие неприятности принесёт он. Улежать всё одно не улежит, хоть эта «Тамара» и сказала там... «снег прочен...» Одной с двумя ребятами, пожалуй, захочется прочности. «Двор – не двор...» Дурак! Хотя покойный Шевелилкин муж тоже грозился дом его поджечь.

Да, давно не ходили разговоры, что Рыков виноват ещё и в смерти Николая Салтанова. Всё правильно по-ихнему: он отдал Салтанова под суд, после «химии» тот запил, в город к друзьям новым стал отлучаться, да там и сгинул. Да если бы остепенился, сам Рыков и посадил бы его на любую ходячую технику. Шевелилке с тех пор многое приходится прощать: молоко с фермы подтаскивает – ладно, мужиков за дрова, за солому подпаивает – ладно... Сколько можно ладить-то?

Что-то спуталось в голове у Рыкова. Зачем вот он поднялся ни свет ни заря? Опять идти распоряжения отдавать? Да там их теперь столько надавали, что неделю только отменять придётся. И председателю, поди, накапали уже: он, мол, так, а мы, значит, вот эдак, как вы, товарищ председатель, учите...

Обычная ярость накапливалась в Рыкове, но не чувствовал он прежней силы, чтобы истратить её в каком-нибудь деле. Главное, в каком?

Белые хлопья за окном прекратили бестолковое мельтешенье и валили теперь ровным бесконечным потоком. «Снег прочен, если упал ночью». Да, от своей законной Воробьихи Генка не то что лишнего – доброго слова сто лет не слышал, да и никто, пожалуй, из всего села.

«Дур-рак!» – припечатал, наконец, Рыков самого себя. Не орать надо было, а просто сказать, чтобы сходились поскорей по-людски. Ни одна химура за Воробьиху не вступится, а он что, как всегда, особенный?

И никуда в это утро Александр Петрович Рыков не тронулся со своего двора. Навестившая его свояченица проложила два петлистых стежка следов во дворе, но снег валил до самого вечера, и укрыл, постирал их все до последнего.

## Машка

Вера Павловна подмазывала глиной угол сарая, сбитый до самана овцами, когда заглянула к ней Тамара Шевелилка.

– Ты, тётъ Вер, как волчиха! Чуть где какая царапина – скорей лизать, подмазывать!

Вера Павловна рассмеялась.

– Скажи уж, как собака, а то – волчиха! Чё такая весёлая?

– Счас и ты повеселеешь! Внуки у тебя есть? Молоко просят? А его можно море надоить! Не веришь? Я со своим мужичьём второй день в раю живу.

– Да ты толком скажи.

Вера Павловна ополоснула руки в ведре с водой, осушила их наспех полой рабочего халата, глянула на соседку с интересом.

– Колхоз начал скот принимать, – Шевелилка сделалась серьёзной, – а коров, пока базы пустые, к нам стоняют. Кормочка-то ещё дают, зелёнку эту, а доить их просто так никто не захотел. Тугосисие, норовистые, ну, сама знаешь, каких на мясо сдают.

– А-а, так, так, – припомнила Вера Павловна. – Это ж они всё утрами ревут?

– Да что утром, что вечером – приучены как-никак доиться.

– И ты их доить пошла?

– Да если б одна! Нынче Геннадий меня в четыре отвёз с флягами, а там уже и Губаниха, и Катерина со снохой орудуют, потом ещё подошли. Молоко разрешили себе забирать, говорят, председатель велел.

– Конечно, жалко, добро пропадает, – покивала головой Вера Павловна.

– А то разве нет. Я две фляги за два раза надоила – это, посчитай, сколько всего? Масла да сметаны? Геннадий ребятишкам и цыпки, и носы облупленные вчера намазывал – вольные! – Взмахнув руками, Шевелилка уронила их и потишила. – Ты не думай, теть Вер, я не жадная. Да ведь Ласточка моя за все лето ни на стакан молока не прибавила. И мало, и нежирное, а за столом – трое мужиков. Я рада, хоть масла припасу.

– Да конечно, чё там говорить!

– А у вас, теть Вер, корова хорошая, у Павлика тоже есть... Я чего: подмогни мне одно утро, а то их, говорят, завтра на мясокомбинат отправлять начнут.

Вера Павловна почувствовала от этих слов на своем лице жаркую краску, тронула даже щеку, вроде как прилипший кусочек глины скovyрнула.

– Ты ведь знаешь, Тамар, я сроду, – заговорила смущённо, – сроду я не отказывала. А сейчас прямо не знаю. Самого надо со смены дожидаться, а то говорил, как бы в ночь к зятю не уехали. Он ему какие-то железки к машине нашёл, выкупить у людей надо, а я хоть на внучонка гляну.

Шевелилка молча покивала.

– А если не пустят его, – торопливо прибавила Вера Павловна, – я сама к тебе забегу. В четыре, ты говоришь?

– Ну да, – не показав особой досады, подтвердила Шевелилка. – Геннадий нас на машине подвезет, если что. А когда ж, теть Вер, Любка-то родила, ты вроде все помалкивала. Видали ее! Третий раз бабкой стала – молчит!

Вера Павловна улыбнулась и перевела дух. Лёгкая у неё была соседка.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.